

Валентин ПРОНИН

ЖАЖДУЩИЕ ПРЕСТОЛА



Серия исторических романов

Валентин Пронин
Жаждающие престола

«ВЕЧЕ»

2015

Пронин В. А.

Жаждающие престола / В. А. Пронин — «ВЕЧЕ»,
2015 — (Серия исторических романов)

Последние месяцы царствования Бориса Годунова. С хриплым граем тучами летело воронье к столице. У западных границ Гришка Отрепьев, выдав себя за убитого царевича Димитрия, возглавил польское войско, которое под предлогом восстановления его на престоле вторглось в Московское царство. К ним присоединяются и казаки. Осада Москвы и Смоленска, интриги Шуйского и Самозванца, второй Лжедмитрий и польский королевич Владислав – длинная вереница имен и испытаний ждет землю Русскую, прежде чем тяжелая шапка Мономаха увенчает достойное чело первого царя новой династии.

Содержание

Часть первая	6
I	6
II	10
III	14
IV	19
V	23
VI	27
VII	30
VIII	36
IX	41
X	47
XI	51
XII	55
XIII	60
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Валентин Александрович Пронин

Жаждающие престола

© Пушкин В.А., 2015

© ООО «Издательство «Вече», 2015

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016

Сайт издательства www.veche.ru

* * *

Посвящается моей жене Ольге Федоровне

И за то Господь Бог на них прогневался,
Положил их в напасти великие,
Попустил на них скорби претяжкие
И срамные позоры немерные.

Духовная стихира

Часть первая

I

С хриплым граем воронье тучами летело к Москве. Хватало поживы в оврагах близ пригородных слобод, куда сваливали отходы от забоя скота, а нередко там попадались и тела человечьи, неизвестно кем убитые и раздетые. Да еще – неподалеку от дороги, а то у самых ворот городских лежали загнанные лошади: посыльные мчались ото всех городов. А по Москве-реке плыли трупы, сброшенные из «Пытошной» башни; прибывало их течением к берегу повсеместно.

Звенящие стаи галок вились над кровлями изб с крашеным кочетом, над пестрыми луковицами церковей да рассаживались на монастырских крестах. Обозы тянулись через весь город по снегу, по грязям. Посольский возок с желтым орлом двоеглавым сбоку скользил за статными конями, бежавшими борзо. Развезая епанчу¹, скакал нередко сквозь толпу нарядный всадник. Прохожий люд ругал его по-черному из-за навозных комьев. Всадник, не оглядываясь, кривил злобно лицо.

Бокастая колымага, а то и более легкая каптана² с золочеными спицами, кренясь в колдобинах, важно катила, запряженная четверкой сытых кобыл. Может, из годуновской родни, а то – из думных бояр: князей Мстиславских, Голицыных, Воротынских... Рядом охрана верхами – стремянные стрельцы в кафтанах клюквенного да мясного цвета, в шапках мерлушковых со шлыком, звякают саблями у бедра, а на плече пицаль тяжелая либо с точеным лезвием протазан...

Круты разгоны по застроенным тесно холмам и оврагам московским – Чертолью, Сивцевым вражком, по Ямским улицам, по мосткам бревенчатым вдоль открытых лавок с товаром. Тут на Торгу толкотня, ругань, мордобой кое-где... Купцы, треща с гороха постными днями, заывают, рухлядь свою нахваливают, прохожего мирянина за полу хватают бессовестно...

С серого неба сеет дождь, изморось, снег мокрый... Сыро, неуютно, скудно. Но хмельной, полуголодный народ в сермягах, в протертых зипунах, в драных тулупах с утра бродит по слякоти, ест с лотков блины, студень глотает, утирая лица шапками – есть в шапке нельзя, грех... В ухо кулаком получить можно или по шее...

Эх, шумно, крикливо, бранчливо, недружелюбно!.. А на Спасском мосту лавки книжников. Торговля идет бойко лубочными картинками, непристойными, печатанными на досках. Еще «Хождение Богородицы по мукам», еще апокрифы с греческого про всякие приключения святых угодников да сказки про «Бову Королевича», переведенные с фряжского... Берут люди и переписанное от руки, стоит-то грош.

У церкви Обыденской близ Остоженки юродивые, босые, лохматые, без шапок, в рвани, в чугунных цепях на костлявом теле, грозят: идет, мол, тьма на Русь... горе Руси, горе грядет... Слепцы с поводырем, с холщовыми сумками для корок, с посошками... войну предрекают. Из деревень приползшие, бескровные от слабости, болезненные старцы пугают голодом: ждите, православные, скоро уж... Монахи в скуфьях, в истрепанных подрясниках вещают о конце света. Мутное время, страшное. А когда было другое?

¹ Епанча – длинный и широкий плащ.

² Каптана – карета, привезенная из Европы.

При Иване Васильевиче Грозном – при набеге крымского хана Девлет-Гирея вся Москва сгорела, один Кремль остался, выстоял. Еле отстроились кое-как в царствование Федора Иоанновича.

А что дальше-то? Неизвестно. Молили из-под палки на престол поставить Бориса Годунова. Поставили его, зятя палача Малюты Скуратова, по-настоящему Бельского. Днем на Москве шумно, а ночью тихо. И страшно: убитых много.

Ночью, как за холода, подморозит, небо бывает звездное, звон колокольный слабый, тихие печальные звуки в вышине текут. И одна звезда большая, тусклая с желтизной, хвостатая – к беде, к войне долгой и мору.

И вот в белокаменной-то, первопрестольной Москве, при царствовании нелюбимого русским людом Бориса Годунова, где-то среди боярских, вольно построенных теремов, среди дворянских, купеческих, земских, ремесленных и прочих тесных дворов соседствовали семейные гнезда Безобразовых, Бугримовых детей боярских да галицких боярских детей Отрепьевых.

У одних больше ладилось: отец служил в старших стрельцах, другой отряжен был в сторожевые головы на рязанские засеки от набегов крымских татар, а третьи – безотцовщина.

Парнишки с этих дворов дружились, кричали один другому из-за высокой скосившейся изгороди:

– Эй, Юшка, хрен бородавчатой! Чаво делаешь? Выходи!

– Я те дам хрена! Выйду, гляди, тогда узнаешь, жердь долгая!

– А пошто грозишь, а не выходишь?

– Пшёл прочь, дурак! Много узнаешь-то, состаришься!

– Недоумки глупые! – встревал третий со смехом. – Вона я сам вам по башкам наступаю!

Дружки выходили, бавились³ в лапту, в «жаворонка»; зимой снежками кидались, бабу вместе лепили; к концу августа лазили из озорства в брошенный сад опального князя Хворостинина за яблоками и малиной.

Безобразов Ванька был чернявый, не особо хваткий, но себе на уме. Петька Бугримов, белобрысый, долговязый, простак-недотепа. Юшка Отрепьев, хоть и самый малорослый, да верткий, сообразительный и выдумщик редкий. Волосом рыж, лицом невзрачен, с бородавками на лбу и щеке, еще и руки разные – одна короче второй. Игрища-то затевали, переругивались шутейно, а иной раз и всерьез дрались – носы разбивали друг другу.

Потом подросли, поучились грамоте у ближнего к Кремлю дьячка в мухортовом кафтане, с узкой седеющей бородашкой. Грамоту постигал скорее всех Юшка (в крещении Юрий, значит). Ну, подросли, стали прилаживаться к какому-нибудь месту на царской либо боярской службе. Так и разошлись по жизни.

Отрепьевы утешались дальним родством со знаменитыми боярами Романовыми.

Юшка пошел на романовский богатый двор простым челядинцем. Может быть, оттого что отец его Богдан Отрепьев убит был неким литвином во время свары в Москве, в Немецкой слободе на Кукуе. Однако вскоре по доносу наложил царь Борис на Романовых опалу, обвиняя в измене. Начал следствие и расправу. Якобы хранили у себя в доме бояре колдовские корни с злоумышлением противу государя.

Романовых взяли под стражу вместе со всеми родственниками и приятелями – князьями Черкасскими, Репниными, Сицкими, Карповыми, Шестуновыми. Самого главу славного рода Федора Никитича Романова и братьев его не раз подвергали пытке. Пытали и холо-

³ Бавилиться – играть, забавляться.

пов их, и всякую челядь, мужчин и женщин. Затем порознь отправили по дальним городкам и погостам в ссылку.

Видя такую упорную царскую немилость, бежал Юшка Отрепьев с романовского двора и постригся в монахи. Новым крещением стал зваться Григорием. Опасался нечаянной беды из-за родственной близости к Романовым. Переходил из одного монастыря в другой. Наконец оказался неведомым образом в Кремле, в патриаршем Чудовом монастыре. Пригосудился там переписчиком священных уложений всяческих, старых книг. У чернеца Григория почерк отличался четкостью и красотой.

Про такие похвальные способности доложили самому патриарху Иову, старцу строгому и нетерпящему каких-либо послаблений в молитвенном усердии. Вообще же ходил слух, будто юный Отрепьев из-за своей редкой грамотности и тем, что служил у Романовых, известен стал царю Борису как человек подозрительный. Однако царь не хотел ссориться из-за столь мелкого служки с патриархом, который борзо пишущего монашка хвалил.

Скоро, и впрямь, время бед на Руси настало. Пришел голод. Трижды не родился хлеб. На праздник Успения Богородицы ударил мороз и побил весь урожай – рожь и овес. В этом году еще кормились кое-как старым хлебом. С новым посевом не прибавилась радость: зерно все погибло в земле, не дав всходов.

И тогда началась гиблая пора: хлеб купить стало негде. Бедствие свалилось такое на срединную Русь, что отцы покидали детей, мужья – жен, дети – престарелых родителей. Люди мёрли, как от морового поветрия.

Видели, как иные несчастные, подобно скотам, щипали траву, ползая на четвереньках. Зимой ели сено; у мертвых находили во рту навоз и человеческий кал. Были случаи, что родители поедали своих детей, а взрослые дети родителей. Человеческое мясо продавали на рынках в пирогах, выдавая за говяжье.

Царь Борис приказал раздать деньги и зерно из дворцовых закромов; народ отовсюду бросился в Москву. Созданная при боярской думе комиссия отыскала запасы зерна. Стали привозить хлеб из дальних областей, где урожаи еще сохранились у рачительных жителей. Людей охватывало безумие, как будто и рыба пропала в реках и озерах, и дичь исчезла в лесах вместе с грибами, ягодами, бортным медом.

Без хлеба православный человек не мыслил существования. В одной Москве погибло до полмиллиона человек, устрашающе сообщает летопись⁴. Царь скорбел и хоронил умерших на свои средства. Кроме того, Борис велел продавать хлеб за половинную цену. Бедным семьям, вдовам, сиротам и особенно служащим при дворе и на охране Кремля немцам отпущено было много пудов зерна даром.

– Господь наказал Русь за страшный грех безбожного Бориса, – открыто говорили на московских улицах изможденные мужики в драной одежде, – за убийство наемниками его сына царя Ивана Васильевича, невинного младенца Димитрия... За то и терпит вся наша земля православная... За то, что сам-то Борис не по закону, а самовластно захватил престол царский... Смилуйся, Спасе наш, не дай за кровавый грех погибнуть всему роду христианскому...

И вокруг худые, как скелеты ожившие, с запавшими щеками, с исплаканными глазами женщины кивали согласно. Прижимали к себе синеватых морщинистых головастиков – истощенных детей своих и крестились дрожащим двоеперстием. Несмотря на все усилия властей спасти народ от голодной смерти, население (от князей и бояр до замученного тягловым трудом смерда) ненавидело царя.

По многим, даже близким к Москве, городам витала крамола. Вспыхивали, как солома в смоляных кадях, бунты.

⁴ Впрочем, другие летописи поминали сто двадцать тысяч умерших.

– Смерть Борису! Цареубийце смерть! – кричали ожесточенные, изголодавшиеся люди. – И потомкам цареубийцы смерть такожде!

За голодом и мором последовали множественные разбои по всем дорогам, по всем селам и городам. Беспощадные грабители рыскали вокруг Москвы и в самой столице. Шайки нападали на царские, боярские, купеческие обозы. Толпы холопов из знатных домов бросились грабить и убивать. Их число увеличивалось холопами опальных бояр, которых никто не желал приютить и накормить из боязни доноса царю.

Нищий, голодный люд побежал к границам Московского царства: на Дон, на Терек, в Северскую Украину, которая и так была переполнена людьми озлобленными – и на поляков, и на москалей, и на крымских татар, а больше всего на безбожного и греховного царя Бориса. Они готовы были сражаться со всеми, не жалея жизни, которая в это время ничего и не стоила.

Царские рати бились отчаянно с вооруженными разбойниками. Возглавил разбой какой-то неведомый (не то из казаков-черкасов, не то из местных беглых крестьян) атаман Хлопко Косолап. Окольный царя Иван Басманов погиб в сражении с лихими людьми. Однако Хлопка взяли в плен, пытали на дыбе огнем нещадно и четвертовали на деревянном помосте – наискось от Фроловской⁵ башни, посреди Красной площади.

⁵ Фроловская – ныне Спасская башня Московского Кремля.

II

На третий год ниспослал Бог милость: хлеб поднялся, заколосился, дал урожай. Голод отступил, стало вроде полегче. Однако люд московский, – опытная, битая, многое знавшая городская толпа продолжала роптать, ждала чуда или каких-нибудь невиданных перемен.

Во дворе одной из семей большого и знатного на Москве рода князей Шуйских, у Скопиных, сошел по крутым ступеням из терема восемнадцатилетний царский постельничий князь Михайла. Высокий, стройный, плечистый, с приятным открытым лицом и серыми большими глазами, смотревшими не по возрасту вдумчиво и сосредоточенно. Вывели конюхи из конюшни рослого саврасого коня для молодого князя – ехать ему в Кремль, на царскую службу.

– Держи стремя, Федор, – сказал старший конюх Иван Китошев, мужик сильный, чернобородый, любивший преданно молодого князя Михайлу, соблюдавший во всем чин и порядок.

Другой слуга, часто сопровождавший Михайлу Васильевича, стриженный в кружок, русый, проворный Федька поддержал стремя, даже зарумянился от горделивого удовольствия. Он был почти погодок князю, но тот брал его постоянно с собой в Кремль к выходам самого царя, на царскую охоту или по каким-либо мелким поручениям.

– Я с тобою, княже? – спросил Федька, надеясь на обычное снисхождение незлобивого господина, который зря никогда не наказывал холопов.

– Куда ж без тебя, – усмехнулся Скопин, легко поднялся в седло, поправил шапку, отороченную куньим мехом, взмахнул витой плетью. – Отворяйте-ка ворота.

Два всадника выехали со двора, подбористой хлынью⁶ двинулись по нелюдным поутру улицам в сторону стен и башен с железными флагами-флюгерами. Князь был в синем кафтане с серебряным шитьем на груди, в подбитой мехом накидке – на одно плечо. Сабля с посеребренной рукоятью. Однако ножны без финифти и каменьев, простые, сверху кожаные, перехваченные медными кольцами. Слуга приоделся в Кремль: на нем темный шугай⁷ с ясными пуговицами, с круглым галунным воротом, шапка суконная, сизая, с красными отворотами спереди. Сабля стрелецкая, стремянного конного полка.

Постепенно толпы людей выходили из домов своих, копились в слободах. От слобод пробирались к Торгу – тащили всякую всячину: вареную говядину, капусту квашенную в бадьях, яблоки моченные в бадьях же, рыбин вяленых, оладьи с творогом, в сулеях и крынках – медовуху, водку на хрене, простоквашу и топленое молоко. Холсты несли – простые и беленые, иной раз тонкое полотно с вышивкой, шерсть баранью для вязки, сукна грубые и попримичнее ткани.

В кузнях уже пыхтели меха и грохали молоты. В подвалах, открытых, дымящихся вонью и заваленных обломками жести, старых чугунов и обрезков полосового железа лудили, плавил олово больные, кашляющие железных дел мастера. Выбегали отдышаться подмастерья – отроки жалкого вида, с желтыми лицами и посиневшими от такого ремесла губами.

Уж прошла в Кремль смена стрелецкого караула. И у Спасского моста толпа стала гуще, шумливее. Здесь безместные попы торгуют молебнами. Пристают к мирянам без совести, за грудки хватают. Близ церкви Покрова⁸, пестрой, как магометанские мечети в Казани, есть патриаршая изба, где законно дают разрешение попам служить на дому. Однако имеющих

⁶ Хлынью – рысью.

⁷ Шугай – род полукафтаны, укороченный кафтан.

⁸ Храм Василия Блаженного.

законное разрешение немного. Остальные попы берут нахрапом, перехватывают у «законников» желающих отслужить молебен. Потому вечно здесь гвалт и ругань, каждый норовит отстоять свою выгоду. Нередко доходит и до драки, до крови.

Однако народ не осуждал воинственных попов.

– Че ж поносить честных отцов-то? – разводил руками иной ремесленник или купчик. – Всякому на сем свете жрать хотца... А как ему, попу-то, копейку добыть, когда и сорока сороков московских церквей на всех не хватает. Христиане ныне скупы стали. И для Бога не особо щедроты являют. Были нам за грехи наказания Господни, будут и еще за алчбу⁹ нашу.

В том самом гулком, крикливом месте подъехал Скопин-Шуйский со слугой Федькой к колымаге, запряженной знакомыми лошадьми да управляемой знакомым возчиком в нарядной одежде и красном кушаке. По бокам и сзади охраняющие холопы в охабнях из дорогого сукна. У каждого при бедре – сабля, за поясом пистоль да топорик боевой: словно на войну собрались.

– Стой. Стой-ка, Миша, подсядь ко мне, – слышался сипатый, известный Скопину с детства голос.

Михайла Скопин спешился, передал поводья Федьке и толкнулся в дверцу колымаги. На сиденье с пуховыми подушками, держа перед собой княжеский посох, расположился старший и влиятельнейший всего рода Шуйских, темноликий, приземистый старик, щедушный, с седеющей бородой и не по-русски горбатым носом. Князь и думный боярин, прослывший в народе лукавым царедворцем.

– Здрав буди, князь Василий Иванович. Бог тебе в помощь, дяденька, – почтительно произнес Михайла.

– И ты здрав будь, племянник, – кивнул прилизанной головой Шуйский; шапку горлатную¹⁰ черного соболя старик упирал в колено. – На службу к ехидному самовластцу Бориске спешишь? Ох, худы наши дела-то. Нас «рюриковичей» Бориска ненавидит и не щадит, Господь покарай его изверга окаянного... Не грозного ли царя Иоанна Васильевича повадки перенял?..

Слегка побледнев из-за слушанья слов, за которые легко было попасть на плаху, юный князь приложил ладонь к широкой груди.

– Что сетовать да роптать, дяденька Василий Иванович! На то, верно, воля Божия, какой царь на престоле Руси. А наша судьбина престолу царскому служить честно... – Скопин покрутил головой с некоторой досадой: молодцу хотелось жить весело, от остального он пока старался отмахиваться. Ведь каждому свое предписано Божьим промыслом. Кому возвышаться и радоваться, а кому тяжкий крест испытаний и казней нести покорно.

– Ты не бойсь, что нас с тобой услышат, – скривив сухие губы под редкими усами, хмыкнул Шуйский. – Я не дурак такое зря болтать. Сказанное в моей избе на колесах с воли-то никто не узнает. Приклонь ухо, я тебе поведать чтой-то хочу.

Михайла Скопин приблизил ухо к шепчущему опасные вести старшине рода Шуйских.

– Уж сколь годов-то прошло с той поры, как посылал Борис меня в Углич удостовериться воочию в истинной смерти семилетнего царевича Димитрия. Я тогда все обследовал и доложил царю о гибели младенца. Будто бы играл царевич неосторожно с ножичком да в припадке падучей сам себя и зарезал. Вот я, повторял сию сказку, старался для Бориса казить¹¹ настоящее-то дело, чтоб ему услужить. В самой же сути убит был царевич по тайному указу Бориса, чтоб царевич не подрос да не мог бы явить притязаний на отцовский престол. А народ, али кто подставной, как увидал крови младенца, так и порвал сразу Битягов-

⁹ Алчба – жадность.

¹⁰ Горлатный – сшитый из меха с передней части шеи пушного зверя.

¹¹ Казить – искажать, изменять смысл.

ского и других убийцев, чтобы под следствие их не привести. Знал про все то преступный царь наш и уверился в тишине на сей случай совершенно. А тут вдруг последнее-то времячко стал меня в пустой чулан зазывать и спрашивать с бранью, правду ли я тогда обсказал о смерти Димитрия. Я крещусь, клятву даю Божеским именем, што все то мной явлено по чистой правде и ничего измышленного быть не может. Он вроде бы успокоится, хрипеть-дрожать перестанет. А седмица пройдет, опять тащит меня за рукав в глухое место и давай признанья от меня требовать: жив ли остался царевич али не жив? Будто совсем, окаянный, ума решился!

– Да-к ведь, князь Василий Иванович, и мне баяли¹², как в те годы ты с Лобного места народу про действо злодейское вещал. И все молились за невинную душу младенца. Никто не сомневался да и не измышлял другого. Пошто же нынче такой оговор на тебя?

– Мало того, когда Борис меня трясет и грозит один на один. Он и в Думе боярской стал меня при всех обвинять в измене и ложных моих показаниях. Да мнения потребовал у бояр: а не казнить ли меня смертною казнью за несправедную службу и за сокрытие правды-истины? Я пал на колени и лбом об пол перед ним, как пред святым образом... И ведь нашлись среди вятших¹³ людей злодеи душегубцы... Стали Мирославские да Одоевские, да Колычевы, да еще кой-кто бормотать, что государь-то дело говорит и надо устроить Шуйскому пытку огненную... Да не велеть ли готовить палачу топор по мою выю?...¹⁴ Судить меня собрался Годунов. А Игнатка Татищев бил меня по щекам и страшил последними словами, льстивый раб Борискин и скудоумец.

– Да ведь, по сказкам старых людей, такая несправедная казнь верных рабов прямо как в опричнину, при свирепствах Ивана Васильевича! И как же далее потекло говорение думцев? А сам-то царь Борис на чем порешил?

– Еле-еле умолили его Воротынские, Ромодановский, Голицын и прочие другие – кто Гедиминовичи, кто Рюриковичи...¹⁵ А дьяки Щелкаловы оба на колена пали в слезах... Тогда царь будто от морока страшного очкнулся и понял, видать, что малость перехватил пока... Бездоказательно-то... И дело все в том чудном слухе, который стал гулять в Кремле да в патриарших палатах. Там молвил-де некий чернец кому-то «Буду царем на Москве!»

– Ахти, вор¹⁶ какой! Взяли ли того монаха? – взволнованно спросил дядю Скопин-Шуйский, по молодости изумляясь превратностям человеческой жизни.

– Куда там! Пропал, как бес от крещенской воды, б... сын. Ни шума, ни следа. – Старик Шуйский со злости стукнул посохом об пол колымаги. Поник на малое время седой премудрой головой, призадумался. Потом слезу старческую отер, мелькнувшую в бороде и вздохнул тяжело.

Жалко было молодому князю Скопину дядю, а что поделать. Скопин терпеливо ждал продолжения беседы.

– Хоть бы слухи-то не разрослись, не начали толпу баламутить... – опасливо произнес Шуйский. – Молва пойдет шнырять по кабакам-кружалам, по площадям торговым, по приказам государским да стрелецким полкам... – он махнул рукой. – Приидет грех велий на языцы земнии... А тебя, племянник, слыхано, стольником царским назначить велено. Что ж,

¹² Баять – говорить, рассказывать.

¹³ Вятшие – родовитые.

¹⁴ Выя – шея.

¹⁵ Гедиминовичи – князья, происходившие от великого литовского князя Гедимина; Рюриковичи – от варяжского князя Рюрика.

¹⁶ Вор – здесь: бунтовщик, изменник.

дай те Господь помочь и далее... Раста, вьюнош, и подымайся, а нам, старикам, одно остается: на суд страшный душу готовить...

– Бог помилует, князь Василий Иванович! Как найдется тот дерзкий чернец, что еретические свои слова произнес, то и с тебя, дяденька, царский гнев спадет.

– Ну да, как шелуха с луковицы... – Шуйский внезапно показал редкие темноватые зубы. – Ладно, Мишаня. Это хорошо, что Шуйских порода при царском дворе в рост, в удачу продвинулась... Может, ты неоценимым думцем али большим воеводой станешь... Но ведь такое безумное и предрезостное слово сказать в патриарших палатах мог только тот, кого Бог напрочь разумения лишил, либо человек, знающий за собой: он, мол, и впрямь – царской крови...

– Возможно ль этакое? – усомнился Скопин, удивляясь неожиданным и странным мыслям дяди Василия Ивановича.

– А тогда... – хитро сощурил взгляд старый царедворец, – все может обернуться так, что и во сне не приснится. Сегодня один царь на Москве, а завтра-то другой... Ну ступай, Мишаня.

– Будьте живы и здоровы, дяденька. – Скопин-Шуйский вышел из колымаги, сел на своего саврасого коня, что истомился без хозяина и тянул в сторону от Федьки, державшего его за узду. Князь махнул плетью, и понеслись всадники, пустив коней в слань¹⁷, прямо во Фроловские ворота.

¹⁷ Слань – галоп.

III

В понедельник второй недели Великого поста Варварским перекрестком шел по Москве монах Пафнутьева монастыря именем Варлаам. И был он беглым расстригой. Монах уже склонялся в жизни своей годам к пятидесяти, облысел, стал чреват и седобород. Одет Варлаам оказался в старый подрясник, а поверх того носил бурый истрепанный бешмет¹⁸. Лысину прикрывал затертым меховым колпаком, еще и куколь¹⁹ монашеский надвигал. Нос у Варлаама бугрист и красноват от любви к хмельному питию. Пояс имел монах из мятой кожи с пришитым кошельем для сбора милостыни.

И как-то случайно приблизился к нему молодой монашек, поклонился смиренно, спросил старого монаха:

Не отче ли Варлаам?

– Он самый и есмь аз, – ответил не особенно приветливо седобородый любитель пображничать и поговорить о скоромном. – А ты отколь меня знаешь? И че те от меня надо?

– Да мне говорил про тебя, честный отче, праведный Пимен из Чудского монастыря. Знавал он тебя когда-то и помнит, что ты ведаешь и монастыри, и места чудотворных мощей. Исходил чуть не всю Русь – от новгородской Софии до киевской, и молился даже мощам праведных печерских старцев²⁰.

– Ну, што верно, то и правда. А ты кто таков, сыне?

– В монашестве Григорием называют. Живя в Чудовом монастыре, сложил я по наущению святого Григория Богослова похвалу московским чудотворцам. Самому святейшему патриарху стало сие известно, и видя такое мое усердие, взял он меня к себе в палаты. Потом стал брать с собою в царскую Думу и оттого возымел я, честный отче, великую славу.

– Да-к и што те еще требуется на белом свете? – спросил насмешливо повидавший всяких людей Варлаам. Он с явным недоверием разглядывал круглое невзрачное лицо и рыжую бородку столь преуспевшего инока Григория. И казалось почему-то прозорливому путнику и самому немалому пройдохе Варлааму, что затевается сейчас что-то необычайное и сомнительное. Но отец Варлаам был человек решительный.

– Ну? – еще раз спросил он. – Я тебя слушаю, сыне. Отверзи уста своя, токмо не бреши.

Григорий ответил на настойчивый вопрос Варлаама очень пространно и не особенно ясно. Ему, как он объяснил, не хочется не только видеть, но даже и слышать про земную славу и богатство. Ему бы только съехать из Москвы в дальний монастырь, где и предаться уединенной жизни да постоянной молитве. Вроде бы узнал он от того же престарелого Пимена, будто хорош для такого духовного подвига черниговский монастырь.

– Нет, сыне, после патриаршего Чудова монастыря черниговская обитель тебе не подойдет. Там место, по слухам, неважное. Даже и в праздники жирной рыбы не отведаешь да крепкого, сладкого пенника не изопьешь.

– Ой ли! И чего же? – словно не понял Григорий.

– А то, что и выпив, и закусив, летней ночью негде там пухлую монахиню ущипнуть... – совсем уж бессовестно заявил отец Варлаам и хохотал долго хрипатым от перепоя басом.

Вдруг что-то дерзкое и веселое мелькнуло в глазах смиренного искателя праведной жизни.

¹⁸ Бешмет – долгополый суконный кафтан восточного типа (татарский, черкесский).

¹⁹ Куколь – подобие капюшона.

²⁰ Имеется в виду новгородский и киевский соборы Св. Софии. Печерский древний киевский монастырь, как и сам Киев, был в те времена на территории Польско-Литовского королевства (Речи Посполитой).

– Коли не хочешь в Чернигов, отец Варлаам, то тогда идем дальше. Хочу в Киев, в Печерский монастырь. Там, бают, многие старцы души свои спасли. А, поживя в Киеве, пойдем далее, в святой град Иерусалим, ко гробу Господню.

– Но ведь Печерский монастырь за рубежом, в Литве. А за рубежом-то пройти трудно.

– И вовсе не трудно, – сказал Григорий уверенно. – Ныне государь наш взял мир с королем Жигимонтом²¹ на двадцать два года. А стало быть, и пройти просто: застав никаких нет. Коли же прикажут навести заставы, так нешто мы их лесом не обойдем?

– Твоя взяла, сыне, идти так идти. Давай-ка встренемся поутру в иконном ряду. Встренемся без обману. Ну, Господи благослови! Не забудь харчишки с собой прихватить. По первому времени пригодятся.

На другой день сразу после ранней обедни Варлаам нашел в начале иконного ряда Григория и с ним еще одного «мозглявого», как подумал про себя расстрига, молодого чернеца с постным лицом и встревоженным взглядом. Но с увесистой котомкою за плечами.

– Вот, отче, тоже желает с нами путешествовать по святым местам, – указывая на своего товарища, сказал Григорий. – А зовут его в монашестве Мисаилом.

– В миру-то звался аз Михайлой Повадиным, из купецкого ряда. Ушел вон от мира, ибо сей мир греховен зело, – вздыхая, проговорил с сокрушенным видом лядящий монашек.

– Ладно, хрен с ним, пуцай бредет с нами, – пробасил пузастый бродяга. Он опирался на суковатый посох, больше похожий на крепкую дубину. – А про жратву, яства дорожные не позабыли?

– Нет, не позабыли, – успокоил старшего путника Григорий. – Сухарей мешок малый взяли, рыбы вяленой – плотвы, окуня, карасей. Есть и немного денежек за пазухой.

– У меня цельная полтина имеется, – сообщил паломник из «купецкого ряда».

– Ну, так в ближайшем же кабаке мы ее и пропьем, – радостно возгласил Варлаам. – Негоже духовным лицам зря при себе деньгу таскать – сию брентную грязь, придуманную Сатаной людям на погибель. Что ж, благословясь да помолясь, трогаемся, братие по Киевской дороге...

Трое чернецов зашагали из Москвы в южном направлении среди пологих холмов с приземистыми деревеньками, меж невысоких березняков и ельников.

– По большой дороге не очень-то ладно нам идти, отец Варлаам, – неожиданно подал голос Григорий. – Тут ведь и стрелецкие дозоры иной раз скачут, всякие ярыги²² и соглядатаи рыщут неведомо для чего... Лучше нам свернуть на тропинку поодаль да и продвигаться в ту же сторону незаметно. Мы людишки-то беззащитные, беглецы монастырские... Так если вдруг к нам какой лихоимец привяжется, оно как-то нехорошо.

– Да чего гадать, можно и тропинкой потопать, – благодушно согласился Варлаам, прикидывая про себя, что неспроста рыженький монашек хочет отдалиться от дороги: видать, не все благополучно у него за спиной, хотя он и наплел небылиц про свои заслуги перед патриархом. Старый бражник нюхом чуял непростой замысел молодого товарища. Думал он об этом, двигая седоватыми бровями, и ухмылялся – поглядывал на Григория искоса. Но и представить себе, конечно, не мог, куда приведет монашка начало сегодняшнего путешествия.

Богомольцы счастливо добрались до Новгорода Северского, прожили здесь недолго в Преображенском монастыре и, сыскав провожатого, перебрались за границу.

В Киеве их приняли в Печерский монастырь. Истово молились они перед мощами святых угодников и, среди них, перед былинным Ильей Муромцем. Прожили в монастыре три недели и отправились в Острог, к тамошнему владельцу князю Константину.

²¹ Жигимонт – польский король Сигизмунд III.

²² Ярыга, ярыжка – мелкий служащий царского учреждения (приказа).

Перед Григорием открылся другой мир; южный, горячий, смелый и в то же время ленивый народ – то занятый своим плодородным хозяйством, то пьянствующий и гуляющий безмерно, то бунтующий против польских жолнеров, расквартированных в селах и городках, то громивший шинкарей и корчмарей, когда нечем становилось уплатить за горилку.

Временами часть молодежи уходила в поход с запорожскими казаками «за зипунами», то есть отправлялись в грабительские набеги на Крымского хана или (как их прадеды в давние времена) отплывали под парусами сотен ненадежных судов через грозные валы Понта Евксинского (а иначе – Русского моря) прямо в Туретчину. Свирепы бились там с янычарами²³ султана и – либо гибли в бою, либо оказывались в цепях на невольничьих рынках, либо являлись в своих краях с награбленными, испятнанными кровью шелковыми халатами, расшитыми золотом бархатными платьями, пестрыми шальями чудной работы, с ворсистыми многоцветными коврами. В ларцах, набитых серебряными, золотыми браслетами да монистами, грузили, бывало, их парусные «чайки». Там же кучей везли ятаганы с рукоятями, украшенными лалами²⁴, изумрудами да сапфирами, сабли в чеканных, золотых ножнах, пистоли аглицкие, мушкетеры фряжские...

А поверх этого драгоценного хлама и заморского оружия сидели привязанные одна к другой своими смоляными косами – прелестные белокожие турчанки с длинными глазами и бровью полумесяцем, смуглые, тучнобедрые арабки да все, кто попался в гаремах, – грузинки, черкешенки, гречанки, болгарки и с маслянистым, темным, будто копченым, телом удивительные женщины из стран африканских. Ну, христианок возможно было взять замуж – замутить славянскую кровь «хохлачей» буйною страстью и невиданным упрямством. Басурманок продавали венеццам – для дальнейшей перепродажи в Европу или обратно на Восток. Мужчин редко брали пленными, чаще по пути сбывали тем же венеццам гребцами на галеры.

Видел это рыжеволосый инок Григорий, и голова его горела от сильного желания власти и наслаждений. Но он пока терпел и приглядывался к окружающему его сообществу новых людей.

Внезапно Григорий пропал и отсутствовал почти два года. Бывшие его спутники так и жили в Остроге, спрашивая про своего товарища у местных жителей. Вислоусые беспечные «хохлачи» говорили им, будто Гришка, или Хришко, как они его называли, подался в саму Запорожску Сичь и там стал казаком: скачет на конях, учится рубить саблей да стрелять из пистоля. А подрясник свой монашеский скинул и оделся в вольную одежду казацкую: свитку, шаровары да сапоги. Пьет горилку, буянит в шинках, а по ночам норовит перемахнуть через плетень с цветущими подсолнухами, чтобы выманить из хаты кареглазую пышнотелую Хиврю или Одарку. Тестей да мужей он не страшится и готов биться с любым колямами и на кулаках.

Все эти сведения сообщались с подмигиваньем и смехом, и непонятно – верны были те рассказы или подвыпившие местные бахари²⁵ потешались над пришлыми москалями.

Появившись однажды, Григорий не вернулся к своим братьям, которые по-прежнему находились в Троицком монастыре. Он отправился в город Гошу и стал учиться при католическом костеле в иезуитской школе латыни и польскому наречию.

– Ай, собачий сын! – взревел свиреп, узнав о столь возмутительном отпадении от монашеского братства, отец Варлаам. – Я те устрою вразумление, выродок, еретик!

²³ Янычары – гвардия турецкого султана.

²⁴ Лалы – рубины.

²⁵ Бахари – болтуны, пустословы.

Он поехал на монастырской двуколке в Острог бить челом князю Константину, чтобы тот велел взять Григория из Гощи и снова сделать его чернецом, возвратя в православную обитель.

– Да тут, отец честный, другие порядки. Земля здесь под королем Жигимонтом, он дает всякому человеку вольную волю. Кто в какой вере хочет, в той и живет, – сказал рассерженному расстриге князь Константин. – Вот у меня сын родился в православной вере, а теперь держит латинскую. Как я его не корил, ничего не сладилось. Мне его не унять. Так и живем: я при Святом причастии кровь и тело Христово из чаши потребляю. А он, поганец, взяв от ксендза²⁶, облатку сухую жует.

Ни с чем Варлаам вернулся в Троицкий монастырь, раздраженный и разочарованный.

– Ну, ништо. Господь этого безобразного изменщика накажет, – пророчески произнес старый бродяга. – Не видать ему добра, и конец его близкий страшен грядет.

А Григорий, понаторев в латыни и польском языке, рекомендован был в услужение к одному из виднейших магнатов Речи Посполитой, ясновельможному князю Адаму Вишневецкому.

Со временем пан Вишневецкий оказался весьма доволен новым слугой и проявлял к нему всяческое благоволение. Но Григорий уже готовился осуществить свой давний план. Он притворно заболел и, якобы готовясь к близящейся смерти, просил пана Адама выслушать его в скорбный час.

Вишневецкий подошел к ложу умирающего слуги и узнал от него, что перед ним прощается с жизнью не обычный простолюдин, а человек высокого происхождения. Более того, единственный сын покойного царя Ивана IV, имеющий священное право на московский престол в противовес захватившему трон преступнику Борису Годунову. Затем последовал рассказ о подосланных в Углич убийцах, замышлявших по приказанию Годунова зарезать царевича. Однако смелые и честные люди спрятали семилетнего Димитрия, а вместо него посланцы преступного царя убили другого мальчика такого же возраста, сына местного священника. Царевича же долго прятали у разных благодетелей, а затем определили в монастырь.

Вишневецкий призадумался. Он понимал, что сведения, полученные от больного слуги, сомнительны. Однако судьбы людей в руках Бога, и следует иногда только вовремя посодействовать Господней воле. Вспомнил пан Адам, что дед его вышел из православного казачества, звался Иван Вишня и стал известен после удачного набега на владения турецкого султана, воевавшего с Польшей. Затем король пригласил лихого запорожца к себе на службу. Дед согласился, принял католичество, за воинские заслуги получил титул князя. И теперь его внук один из самых знатных и владетельных магнатов королевства.

– Есть ли у тебя хоть какое-нибудь вещественное подтверждение твоей истории? – спросил пан Адам.

– Да, – отвечал слабым голосом Григорий, – вот вещь, оставшаяся у меня с детского возраста. – Он достал спрятанный на груди золотой крест с самоцветами и пояснил заинтересованному хозяину, что крест сей возложен на него при крещении его крестным отцом князем Мстиславским.

Откуда ловкач Григорий приобрел такую ценную вещь, трудно вообразить. Может быть, усердный писец, которого заметил патриарх Иов, похитил крест в ризнице Чудова монастыря, имея доступ к старым книгам и патриаршей церковной утвари? Словом, князю Вишневецкому захотелось поверить молодому человеку, и он ему поверил.

Тотчас был приглашен самый лучший врач в воеводстве. Врач был иезуит, а потому сделал все возможное, чтобы излечить русского царевича, учившегося недавно в иезуитской

²⁶ Ксендз (польск.) – католический священник.

школе. Врачевание столь достойного мастера сразу возымело самое благотворное действие на больного. Григорий скоро стал совершенно здоров. Он попросил пана Адама называть его теперь царевичем Димитрием.

Князь Вишневецкий, как польский вельможа, сразу сообразил всю выгоду появления в Польше законного претендента на русский престол. «Царевичу Димитрию» были предоставлены отдельные комнаты с соответствующим убранством, панские одежды и панский стол. К тому же чрезвычайно удобным оказалось то, что он свободно говорил по-польски и даже вводил в свою речь некие сентенции на латыни.

Карета Вишневецкого стала все чаще оказываться у замков ближних панов. Входя в гостевую залу, князь представлял хозяину и его жене, как и прочим родственникам, русского царевича Димитрия, жертву коварства и жестокости Годунова, обманом захватившего московский трон. Изумленным панам рассказывалась история о намерении Годунова убить невинного младенца, сына царя Иоанна IV, далее шло известие о его чудесном спасении, долгом сокрытии его происхождения и...

– И вот теперь пришло время, – разглагольствовал вдохновленный своей ролью первооткрывателя Вишневецкий, – когда с помощью нашего короля Сигизмунда, с помощью ясновельможных панов и шляхты, во главе сильного войска благородный царевич пойдет на Московию освобождать родительский трон от преступного царя Бориса, обманщика и узурпатора...

Слова «с помощью короля Сигизмунда, панов и шляхты» буквально пронзали своим кровавым смыслом буйные души ясновельможных.

– Виват! – кричали паны, раздувая пышные усы. – Виват царевичу Димитрию! Смерть проклятому Богом негодяю Годунову! Ваше высочество, наши сердца и сабли принадлежат вам!

После представления и приветствий устраивались пиры с жареным кабаном, жареными гусями и прочей рыцарской снедью, со старой польской водкой и венгерскими винами. Затевались балы под звуки труб, визг сопилки, пиликанье скрипок и звон цимбал. Почтенные паны и стройные шляхтичи, гремя шпорами, бешено откалывали мазурку. И хотя внешность царевича не производила особенно приятного впечатления на поляков, но хорошенькие паненки с открытыми лебедиными шеями, в легких платьях, в шапочках с пером приманчиво и сладко улыбались спасшемуся «царевичу Димитрию». От этих улыбок у Гришки стучало сердце и кружилась голова.

Новоявленного царевича везде принимали с царскими почестями. Особенное впечатление на «Димитрия» произвело празднество в городе Самборе у знатного сандомирского воеводы Юрия Мнишека. Младшая дочь Мнишека была замужем за Константином, братом князя Адама Вишневецкого. Но старшая дочь Марина была свободна. Несмотря на маленький рост, юная полячка, сверкающая диадемой в черных волосах, ослепила красотой и изяществом пылкого, до отчаянности дерзкого Гришку. Он старался не отходить от Марины, постоянно стремился развлекать ее и не скрывал своих чувств. Дочь пана Мнишека только вежливо терпела некрасивого, но необычайно красноречивого царевича.

IV

– Но вы же сами изволите видеть, ваше высочество, – вкрадчиво говорил Юрий Мнишек, уединившись на другой день с Григорием у себя в замке, куда тот захотел переехать от Вишневецкого, – вы сами изволите видеть, что моя дочь будет вашей супругой только при условии вашего принятия святой апостольской католической веры. Кстати, помощь короля и влиятельных вельмож Речи Посполитой тоже будет зависеть от этого условия.

– Что ж, я готов стать католиком, – слегка усмехнувшись и одновременно пожав плечами, согласился Григорий.

– О, это прекрасно, ваше высочество! Тогда приступим к выполнению вашего решения сегодня же, – обрадованно заключил Мнишек, хотя его немного озадачила легкость, с которой русский престолонаследник согласился принять новое крещение. Ревностному католику Мнишеку почему-то показалось: если бы он предложил русскому царевичу протестанство или даже склонял стать поклонником ислама, тот согласился бы с неменьшей готовностью. «Может быть, он вообще безбожник и ему безразлична любая религия? И кто совершенно достоверно решился бы доказать, что передо мной сидит истинный сын Иоанна IV, а не самозванец и авантюрист, холера ясна? Но все это неважно, в конце концов. Важно влияние Польши на Московию или даже полное ее покорение. И важно, что моей Маринке светит вознестись на царский трон и произвести наследника с польской кровью. А мне – расплатиться наконец со всеми долгами и превратиться в богатейшего человека Речи Посполитой. И стать зятем монарха, которому суждено править империей от Вислы до Волги, черт возьми!»

Впрочем, возникла неприятность. На уговоры Мнишека стать невестой, а затем и женой царевича Дмитрия, гордячка Марина ответила решительным отказом.

– Чтобы я вышла за схизматика...

– Он в скором времени будет католик, – торопливо вставил Мнишек в возмущенную речь Марины.

– Чтобы я вышла за лжеца и беглого холопа, за проклятого москаля, пся кровь! Нет, пан отец, я никогда не соглашусь. И никто меня не заставит!

– Но, дочь моя, ты не хочешь понимать редких и поразительных выгод, которые упадут в мои руки... и в твои тоже. Ты отказываешься быть русской царицей?

– До царства этому рыжему хаму как до неба, пан отец. Пока в Москве правит, насколько я знаю, царь Борис. Вот когда на его трон сядет ваш хваленый Дмитрий, тогда я еще подумаю... И, кроме того, я должна признаться вам, пан отец, я люблю другого. Достойного рыцаря и моего избранника.

– Кто же тот избранник, дрын ему в дышло?

– Пан Валэнтин Огинский.

Мнишек сразу вспомнил статного белокурого красавца во французском камзоле и высоких ботфортах, со шпагой вместо традиционной сабли. Они ездили тогда в Краков с дочерью. Как и многие паненки, прибывшие на королевский бал, Марина была очарована любезным паном Огинским. Но Мнишек не мог представить себе, что его капризная дочь настолько увлечется этим вертопрахом.

– Огинский мот и картежник. Все его имения заложены до последнего фольварка, а в карманах вряд ли осталась даже пара злотых, – раздраженно преувеличивая пороки красавца, проговорил пан Мнишек. – Ты должна понимать: замуж выходят не за обманчивую внешность бабника и щеголя, а за состоятельного и уважаемого человека. Словом, готовься к обручению...

Однако Марина скандалила, упиралась и даже заплакала, что случилось с ней крайне редко.

Через несколько дней настойчивый пан Мнишек повел русского царевича в католический монастырь во имя Святого Франциска, и монахи-францисканцы совершили крещение «схизматика» по католическому обряду. Таким образом «царевич Димитрий», он же Григорий Отрепьев, превратился в католика. Впрочем, он попросил Мнишека не слишком распространяться об этом. Посвящены должны быть пока только избранные, ибо если вести о том, что сын Иоанна IV сменил веру, дойдет до православного народа... «Думаю, мое возвращение в Москву и притязание на отеческий трон станет невозможным», – доверительно сказал Григорий будущему тестю. И пан Мнишек с ним согласился.

После переговоров с Рангони, папским нунцием²⁷ при польском дворе, Мнишек и царевич отправились в Краков. За ними в отдельном возке следовала Марина со своей подругой, шляхтянкой Барбарой Казановской, и несколькими служанками. Немалый отряд вооруженных всадников сопровождал экипажи до самого королевского дворца. Рангони ехал отдельно со своими прелатами.

– Ваше Величество, представляю вам спасенного чудесным образом от убийц Годунова, сына царя Иоанна IV, царевича Димитрия Ивановича, – склонился в глубоком поклоне Мнишек. Он откинул полы нарядного кунтуша²⁸ и опустился на колено перед королем Сигизмундом. Король милостиво покивал, сдежка подняв брови.

«Царевич Димитрий» тоже поклонился польскому королю, хотя и не слишком низко. Это было заранее оговорено, чтобы не ронять достоинство особы царской крови.

– Мы рады приветствовать сына почившего великого государя Московии, – произнес Сигизмунд и несколько замешкался. Официально Польша недавно заключила мирный договор с послами Бориса Годунова, признанного Сигизмундом законным монархом, и принимать непонятно откуда взявшегося претендента на русский трон казалось ему довольно неприличным и даже опасным. Тем более – царь Борис обещал совместно с поляками направить свои войска против турок.

Произошла неловкая пауза, после которой распорядитель королевских приемов попросил высоких гостей перейти в кабинет Его Величества.

Королевский кабинет, роскошно убранный бархатными порттьерами, портретами польских королей и золотыми шандалами, произвел на Григория Отрепьева ошеломляющее впечатление. «Как стану царем, тоже себе такой же сделаю, – подумал он и искоса поглядел на свое отражение в блестящей рыцарской кирасе, подвешенной у входа. – У, дурачина! Чего делишь шкуру неубитого медведя?... – попенял он себе, но, подумав, приободрился: – Эх, ну ладно! Бог поможет. Поглядим, что будет дальше...» Гришка вскинул голову и принял надменный вид.

Король сел в обитое серебряной парчой кресло на возвышении. Движением холеной руки в перстнях предложил гостям занять соседние кресла, несколько пониже. У письменного стола расположился королевский секретарь с бумагами и гусяными перьями. За дверями стали гвардейцы-французы с обнаженными шпагами. Полтора десятка польских жолнеров выстроились в коридоре, держа алебарды и мушкеты.

И началась доверительная беседа. Во время нее был заключен договор, так называемые кондиции, по которым будущий царь передавал будущему тестю все города Северной земли²⁹, а будущей царице – Новгород и Псков со всеми пригородами навечно. В одном из пунктов «кондиций» королю отдавался так давно желанный для Польши Смоленск, которым предполагалось погасить долг царского тестя (оказалось, Мнишек был должен крупные суммы не только ростовщикам и неким достойным панам, но и самому королю).

²⁷ Нунций – представитель римского папы в католических странах.

²⁸ Кунтуш – нарядный польский кафтан.

²⁹ Обширная территория в верховьях Дона, Сев. Донца и Днепра.

А чтобы сделать приятное нунцию Рангони, Григорий Отрепьев поклялся в течение года после своего воцарения ввести католичество по всей Руси, а православие отменить. Нунций сдержанно возликовал, хотя и понимал: изменение веры будет делом крайне тяжелым. Оно может принять очертания настоящей религиозной войны... Однако слышать о победе католичества в Московии было так сладко... Рангони со своей стороны пообещал сделать все возможное для помощи царевичу.

На другой день нунций принял от него в костёле, в присутствии многих знатных особ, клятву, что он (царевич Димитрий Иванович) всегда будет послушным сыном римского апостольского престола. Затем Рангони причастил его и миропомазал, а также принял исповедь.

Тут же воодушевленный нунций повез новообращенного к королю. Тот официально, в присутствии придворных, признал его царевичем, достойным добиваться трона своего отца и низложения худородного Годунова. Король даже назначил царевичу ежегодное содержание в сорок тысяч злотых. Впрочем, помогать ему войском он не хотел, опасаясь больших осложнений в случае неудачи. А неудачами такого рода могли быть враждебные действия Швеции, с которой у короля Сигизмунда давно велись династические, территориальные и военные споры.

Мимоходом пан Мнишек пожаловался нунцию Рангони на свою непокорную дочь, капризы которой не благоприятствовали намеченным действиям по внедрению среди населения Московии католичества.

– Ей, видите ли, не нравятся манеры Димитрия и его некрасивое лицо в сравнении с... черти бы его взяли... с паном Огинским. За него она хоть сейчас вышла бы замуж. А за будущего царя не желает, безумная девчонка! Помогите, уговорите ее прекратить сопротивление, святой отец. Ну, не лупить же мне свою дочь вожжами, как немытую холопку...

Смуглое, с орлиным носом и черными пристальными глазами лицо нунция сурово нахмурилось.

– Пусть ваша дочь, мессер Мнишек, приедет в мою скромную обитель сегодня вечером. Я буду иметь с нею душеспасительную беседу и надеюсь ее уговорить.

Марину Мнишек привезли в резиденцию Рангони, находившуюся рядом с главным собором Кракова.

Нунций встретил дочь сандомирского воеводы благожелательно и даже с лстивой улыбкой, какая невольно возникает у мужчин при общении с красавицей.

Поначалу опытный пастырь душ доходчиво и откровенно, имея дело с очень неглупой девушкой, объяснял ей множественные выгоды брака с царевичем Димитрием. Затем он обратился к ее сердцу католички, которое должно пожертвовать своими привязанностями ради торжества церкви.

Но Марина упорствовала. Она твердо заявила о своем нежелании испортить себе жизнь ради политических интриг.

– Я знатная панна, а не какая-нибудь мещанка из предместья, – заявила красавица и, вскинув голову, посмотрела на свое отражение в большом венецианском зеркале.

Дрова в камине догорали, отбрасывая красноватые блики на белую стену с черным распятием. Вдоль стен протянулись резные, крытые бархатом деревянные скамьи. На століке в большом канделябре стояли семь зажженных свечей. Неподвижные язычки пламени внезапно заколебались, будто на них из темного угла повеяло холодом и сыростью (так показалось Марине). Девушка вздрогнула.

– Значит, ты, дочь моя, не желаешь внимать уговорам своего почтенного отца, пожеланиям Его Величества короля и моим пастырским увещаниям... – подытожил Рангони окончание своих аргументов в пользу ее брака с царевичем.

– Да, не желаю. Пусть мой отец, вы и король обойдутся без меня в этих мужских делах. Лучшие женихи Польши не откажутся назвать меня своей коханой. И я не потерплю прикосновений московитского хлопа. Оставьте меня в покое, святой отец.

– Ты не хочешь стать царицей? Не желаешь быть осыпанной драгоценностями несметной цены? Не нуждаешься в платьях из шелков и бархатов, в мантиях из соболей и горноста? Тебе не нужна корона?

– Золотые побрякушки и дорогие меха не заменят истинной любви и высокого благородства... – отвергла соблазны нунция гордая полячка.

– Ради похоти своей ты пренебрегаешь интересами святой церкви. – Лицо Рангони стало мрачным. С выражением праведного гнева он вперил взгляд в маленькую фигурку Марины. – Гордыня отравила тебя, как яд змея преисподней... Пади на колена перед распятием Господа!

Марина почувствовала смятение и страх. Как верующая католичка, она понимала, что ее сопротивление нунцию греховно. Да, наверное, и бесполезно.

– Оставьте меня, святой отец! – повторила она и внезапно замолчала, окостенев от ужаса.

Вдруг одновременно погасли свечи. Тьма, лишь слегка нарушаемая отсветами камина, скрыла присутствие Рангони. Остался лишь его страшный голос.

– Адским пламенем заблистали глаза твои... Исказились и почернели уста, щеки твои поблекли... Под дуновением нечистого краса твоя пропала... Посмотри в зеркало, Марианна Мнишек!

Венецианское стекло отразило черную химеру с рогами, косматой бородой и зелеными, горящими злобой глазами. У ног жуткого чудовища скорчилась уродливая обезьянка в платье... Марина узнала себя.

Отчаянный вопль, мольба о прощении, клятва подчинения и раскаянья раздалась в обители папского нунция. Рыдая, Марина на коленях ползала перед ним.

– Ты прощена в первый раз, – услышала она снова голос Рангони. – Ты будешь моей рабою, и каждое мое слово будет законом для тебя, ибо здесь я представляю святой закон Ватикана.

Свечи разом вспыхнули. Рангони поднял девушку и повернул ее к зеркалу. Сквозь слезы она увидела свое прежнее лицо, но бледное и поникшее.

V

Брак был отложен до утверждения жениха на московском престоле.

25 мая 1604 года Лжедмитрий дал Мнишеку запись, в которой обязался – жениться на Марине тотчас по вступлении на престол и выдать будущему тестю один миллион польских золотых для устройства в Москве. Марине обещалось столовое серебро из царской казны и бриллианты в соответствии с ее будущим царским обиходом.

Впрочем, четверо знаменитейших польских вельмож, возглавлявших сейм: паны Замоиский, Жолковский, Зборажский и князь Василь Острожский – отговаривали короля в поддержке авантюры Мнишека. Они доказывали опасность, заключавшуюся в обиде Годунова и его возможном союзе со Швецией.

– Откуда вы откопали этого проходимца, ясновельможный пан Мнишек? Вы думаете подобного добра мало в самой Польше и вообще в Европе? Может быть, вы представите нам завтра неучтенного сына короля Франции или случайно попавшегося вам под ноги неизвестного австрийского принца? И мы отдадим приказ всей Речи Посполитой собирать полки, чтобы посадить самозванцев на трон законных монархов? – язвительно спрашивали столпы польского правительства у сандомирского воеводы.

– Мне представил Димитрия князь Вишневецкий, – раздраженно отвечал Мнишек.

– А где же сам Вишневецкий?

– Он при царевиче.

– Царевич этот прохиндей, что выдает себя за сына Ивана IV? Ну, понятно. Его хотели убить, но почему-то убили другого. Убили поповича, вместо царевича, так кажется. И какую же армию вы, пан Мнишек, приготовили для будущего русского царя? – серьезно сердился канцлер Лев Сапега.

– В основном это добровольцы из шляхтичей и жолнеров³⁰ некоторых смелых рыцарей, панове, – продолжал отбиваться Мнишек, не собираясь сдаваться. Им, этим вельможам и богачам, наплевать на царевича Димитрия, но воевода из Сандомира, давно запутавшийся в долгах, не собирался отказываться от него. Димитрий на троне рядом с его дочерью давал ему надежду на обогащение и власть. Он так мечтал об этом.

Мнишек собрал для будущего зятя тысячу шестьсот боеспособных воинов в польских владениях. Конечно, это был всякого рода сброд. Промотавшиеся паны из приграничных воеводств со своими дружинами. Некоторые русские князья и бояре, сбежавшие в Литву от опалы и казни. Присоединились к походу на Москву и запорожцы, называвшие себя почему-то черкасами. Им безразлично было, куда скакать «за зипунами»: на север, в православную Московию, или на юг – в Крым и Туретчину.

Донские казаки, стесненные при Борисе Годунове (если их ловили в городах, то тотчас сажали в тюрьмы за разбой), откликнулись немедленно на призыв «Димитрия Ивановича» и присоединили к ополчению, собранному Мнишеком, две тысячи казаков. Теперь войско Лжедмитрия насчитывало четыре тысячи человек.

А слухи из Польши, Ливонии, с Северной Украины и Дона уже проникали на Русь, в гудящие, как встревоженные ульи, города. Наконец ими переполнилась Москва. Донские казаки выбрали двоих атаманов, ограбили нескольких представителей царской власти и послали сказать Годунову, что явятся к Москве с законным царем.

Царь Борис ужасался этих слухов и приходил в ярость. Он приказал отгородиться от Литвы заставами и готовиться к войне. Но эти меры оказались запоздалыми. Народ ждал

³⁰ Жолнер – рядовой пехотинец польского войска.

«доброго», «настоящего» царя Дмитрия Ивановича. Люди на юге Руси вооружались – не для отражения близящегося войска Самозванца, а чтобы присоединиться к нему.

Первые города, попавшиеся на пути Самозванца, сдавались без боя. И именно простолюдины, «черный народ» усиливал его армию. Часто восставшие смерды и холопы приводили к «истинному» царю на суд связанных воевод и бояр. И если последние присягали, клялись в верности «Дмитрию Ивановичу», он не только даровал им жизнь, но и доверял командование отдельными отрядами. Тех, кто отказывался присягать, немедленно убивали на глазах у всех, как прихвостней «преступного» Бориса Годунова.

Встретился с победоносным «царевичем» в Путивле бывший дружок Петруха Бугримов и вынул простодушные свои глаза, бормоча явственно: «Ну и ну... Так ведь это же... Мы ведь с ним это... ты... когда-то того...» Его тотчас схватили недремлющие приставы, наблюдавшие за порядком в войске. Поволокли Петруху, заткнув ему рот, и только спросили взглядом у предводителя. Он холодно отвернулся, и сын боярский Петр, дергая ногами, закачался в петле на ближайшем дереве.

Однако бывший сосед Иван Безобразов сразу сообразил, в чем суть. Он даже помыслить не смел о том, как в детстве и отрочестве они играли с Юшкой Отрепьевым... Оказавшись поблизости от «Дмитрия Ивановича», пал на колени, пригнул голову: «Государь... Истинный царь наш... Слава тебе!»

К вечеру за ним пришли. Ивашка похолодел: «Ну, все... Конец...»

– Ты боярский сын Безобразов Иван?

– Я... аз...

Его привели к «царевичу», бросили перед ним. Безобразов сунулся лохматой башкой в ноги... «Господи, да я для нашего царя жизни не пожалею...»

Иван Романович Безобразов не дурак, своего не упустит. Приглядевшись к нему и оценив этот остекляневший от преданности взгляд, в котором ни на миг не отражалось бывшее «дружество», Самозванец сказал:

– Вот что, Иван, назначаю тебя своим постельничим.

– Ох, государь, Дмитрий Иванович... Как и благодарить... Да я, Господи, думать не смел... – И стал Безобразов близким человеком нового государя, еще не воссевшего на родительском престоле.

Годунов слал письма с упреками к польскому королю Жигимонту. Тот отвечал уклончиво: я, мол, здесь не при чем, за смуту на границах Руси и за действия всякого сброда не ответственен. И мои советники разбой каких-то людей с панскими фамилиями не поддерживают.

Писал в сердцах царь Борис и Самозванцу, ругал его, призывал опомниться, усмириться, побояться гнева Божьего. «Царевич» в ответ на письма Бориса отвечал длинным лицемерным посланием, где, в свою очередь, срамил его за покушение на убийство царского сына, за незаконный захват трона.

В Москве и других городах бирючи зычно кричали с высоких мест о Самозванце, еретике Гришке Отрепьеве. То же возглашал с амвона Успенского собора и негодующий патриарх Иов, проклинал еретика, расстригу Гришку и звал православных отвернуться от козней и безобразий вора и проходимца.

Но армия «вора» росла с каждым днем, пополняясь толпами «черного люда» и отрядами донских казаков. Догоняли своих братьев и запорожцы, боясь упустить случай разграбления Московской Руси. Странно, что сидели, притаившись и выжидая, чем кончится свара между москвитями, Польшей и казаками, стремительные всадники крымского хана Гирея.

Временами столкновения с царскими войсками кончались для пестрого сброда Лжедмитрия разгромом. Однако «царевич» не унывал, отступая. Вскоре, пополнив ряды своих ратников за счет противников Годунова, он продолжал наступление на Москву.

Борис метался, как затравленный зверь, то обвиняя своих бояр в поголовном заговоре, то требуя от воевод решительного сражения и пленения Гришки Отрепьева, то собираясь отослать свою семью в Швецию, к благожелательному королю Карлу³¹. Внезапно Годунов прилюдно упал, из носа, рта и ушей его хлынула кровь. Через два часа нестерпимых страданий трагический царь Борис умер, успев принять схиму и отойдя в мир иной под именем Боголепа.

Говорили, его постиг удар от угрызений совести и из-за безысходного положения беззащитной семьи. Иные утверждали, что Годунов был отравлен заговорщиками – боярами или тайными агентами иезуитов. Считали также возможным самоотравление царя от отчаяния и помрачения рассудка.

После смерти Бориса остался сын Федор, о котором распространялась молва, говорящая о его ранней разумности, благопристойности в поведении и редкой по тем временам образованности. Борис чрезвычайно ценил и любил сына, приобщая его к государственным делам.

Жители Москвы спокойно присягнули Федору, целовали крест. В целовальной грамоте сказано: «Государыне своей царице и великой княгине Марье Григорьевне всея Руси и ея детям, государю царю Федору Борисовичу и государыне Ксении Борисовне». Также присвокуплено было, повторено и прибавлено: «И к вору, называемому Димитрием Углицким, не приставать, с ним и его советниками не ссылаться, не изменять, не отъезжать, никакого государства не подыскивать и того вора, что называется царевичем Димитрием Углицким, на Московском государстве видеть не хотеть». Князь Василий Иванович Шуйский сказал по поводу присяги князю Василию Васильевичу Голицыну:

– В целовальной грамоте Самозванец не именуется Гришкой Отрепьевым, то ись стало он кабыть признается Димитрием, сыном Ивана Васильевича Грозного. Это вроде бы уже и дает ему заочно право на отецкий трон, ась?

Осторожный Голицын промолчал, но согласно покивал «лукавому царедворцу».

Воеводы огромной рати князя Мстиславский и Шуйский явно медлили в своих военных действиях против смешанного русско-польско-казацкого воинства Самозванца, значительно уступавшего в численности царскому войску. Новое правительство послало новых воевод, учитывая местничество по знатности рода. Первым вследствие этого оказался заурядный военачальник князь Катырев-Ростовский, вторым уже показавший в боях смелость и мужество воевода Большого полка Петр Басманов.

Поначалу Басманов предпринял перестроения и подготовку воинских отрядов для решительного удара по пестрому сброду «царевича». Одновременно новгородский митрополит Исидор привел войска к присяге молодому царю Федору Годунову. Все – и бояре, и дворяне, и чернь – целовали в том крест.

Ратные люди присягнули, но недолго оставались верными Федору. Охотнее они признавали царем Димитрия Ивановича, «добрého», «истинного», «законного». Басманов видел, что воеводы, опытные и смелые, способные успешно воевать, не хотят Годуновых. Он понимал – идти против общего настроения бесполезно. Сражаться и умирать за трон Годуновых не желают ни полководцы, ни рядовые бойцы. Со смертью Бориса правление Годуновых обречено на гибель. И тогда, не желая пасть жертвой присяги, Басманов решил покончить со службой нынешней династии.

³¹ Шведский король Карл IX – прадед знаменитого Карла XII, побежденного Петром I.

Поздно вечером отряд всадников, сопровождавших Басманова, въехал в занятое царскими войсками село. Спросили, где разместился князь Василий Васильевич Голицын. Скоро Басманов уже соскочил с коня и, предупредив о своем приезде караульных, вошел в шатер князя Голицына с почтительным приветствием. Они разговаривали недолго. «Надо бы вызвать брата», – сказал Голицын, подумав.

Месяц золотистым серпиком освещал телеги, костры, коновязи воинского лагеря. Повсюду сидели или спали, укрывшись попоной, бородатые воины. Кто-то варил кашу в котле, кто-то чистил оружие. По границам большого табора на условленных местах стояли, опершись на фузеи и пики, дозорные стрельцы.

Басманов и оба князя Голицына обсуждали свои дальнейшие действия.

– В Москве-то громогласно изобличают царевича, называя его не иначе как вором-расстригой Гришкой Отрепьевым, – озабоченно говорил Михаил Голицын, поглядывая исподлобья на брата и воеводу Басманова. – А черный люд ждет его и признает царем.

– Армия царевича растет, набирается опыта, – как бы отвлеченно сообщил Басманов. – А правительницей при недоростке царе объявила себя его мать Марья Григорьевна, дочь палача Малюты Скуратова. От его злодейства и самоуправства казнены были мой отец и дед, чего забыть я не могу. И присягать ей и ее волчонку не желаю. Предпочту присягнуть Отрепьеву.

– Что ж, думаю наследников Годунова нужно сместить, – начал сердито Василий Голицын, – бесповоротно.

– Да что сместить, Василий Василевич. – Басманов невольно схватился за рукоять сабли. – Извести следует весь злокозненный их и преступный род.

– Надо снести с царевичем и сообщить о нашем решении перейти под его руку, – продолжил Михаил Голицын.

– Я говорил о сем с Василием Ивановичем Шуйским. Он тоже считает – надо воспользоваться приходом царевича Димитрия, хотя князь Шуйский поклялся мне, что своими глазами видел в Угличе труп настоящего царевича. – Василий Голицын горько усмехнулся. – Однако делать нечего. Большинство боярской Думы не находит иного выхода, как присягнуть вору и расстриге. Такова, знать, воля Божья. Присягнем, на трон посадим, а там поглядим.

VI

Вступать в Москву Самозванец не спешил, побаивался. Мнение видных, имеющих влияние бояр было ему известно. В большинстве случаев оно складывалось для него благоприятно. Но Отрепьеву казалось важным узнать настроение народа московского, народа строптивного и буйного.

– Глас народный – глас Божий, так-то, – посмеиваясь саркастически, говорил «Димитрий Иванович» думным боярам Пушкину и Плещееву. – Прoberитесь-ка с моей грамоткой в столицу да почитайте людям. Потом вернетесь, доложите мне... если живы останетесь.

Мятежные, рискованные бояре (еще не старые), давно тайно сговаривающиеся против Годунова, сразу, лишь вошел в русские пределы Самозванец, перешли к нему.

Гаврила Пушкин и Наум Плещеев, взяв грамоту из рук «Димитрия Ивановича», поскребли потылицу и спросили:

– Кто ж нам поможет в Москве-то оказаться? Послание твое черни прочесть, государь?

– А вон атаман Андрюха Корела с вами поскачет. Пускай возьмет сотни две чубатых на самых лучших конях. Скажете, я велел. Он вас сопровождать будет. Ну, с Богом!

Расшвыряв сторожей и городских стрельцов у заставы, казаки с Пушкиным и Плещеевым ворвались в Китай-город.

Пушкин, прокашлявшись, начал читать быстро собравшейся толпе москвичей грамоту от законного сына царя Иоанна царевича Димитрия Ивановича. Одобрительно загудела толпа, услышав обвинения Годуновых, не жалевших русской земли, оттого что и жалеть, мол, им было нечего, потому как чужим владели.

– Верно, – раздались обрадованные голоса, – что правда, то правда. Вот наконец от истинного государя неложные слова узнаем... Да ты читай шибче! Не слыхать поодаль-то!

Гаврила Григорьевич Пушкин читал толпе с Лобного места:

– А которые воеводы и бояре ратоборствовали против нас, своего государя, мы в том их вины не видим. Они посланы были злодеем Годуновым под страхом отнятия живота и творили сие неведомостью. Мы их прощаем и призываем верно службой заслужить вины свои... Пусть мир и тишина воцарятся в нашей державе. Я прощаю всех, кого осудили Годуновы. Отворите темницы, сбейте оковы с несчастных, утрите слезы обиженным.

Переполненная народом площадь восторженно взывала. Пожалуй, никто не мог припомнить царя, отворившего темницы, сбившего с узников оковы, утеревшего слезы обиженным.

Люди кинулись к тюрьмам, сбивая замки и разгоня стражу.

– Простил государь Димитрий Иванович! Всех простил! Выходи, братцы!

В истлевшем рванье, в струпьях и кровавых шрамах узники, шатаясь, вышли на улицы.

– Испить дайте, братцы! Проводите до дому, православные... Силов нету... Пытали меня жестоко, о! Нещадно били, по-звериному... Голодом морили... Здравия и победы государю Димитрию Ивановичу!

Пушкина и Плещеева окружили тесно, повели на Красную площадь:

– Читайте, бояре, там. Народу больше услышит.

Казаки вертелись верхом на конях посреди толпы. Кричали:

– Читайте и на Пожаре!³² Не трусьте, грамотные!

Стрельцы, посланные из Кремля не допустить черный люд к Лобному месту слушать «прелестную» грамоту, испугались. Увидев стекающуюся со всех сторон ревушую толпу,

³² Пожар – старинное название большого пустыря, оставшегося после набега крымского хана Девлет-Гирея.

побежали и затворили Фроловские ворота. Красная площадь ругалась страшным и скверным словом. Сотнями кулаков грозила Кремлю.

Пушкин снова развернул свиток, стал читать, надрывая горло. Когда дошел до слов «обещаю всем, гонимым Годуновыми, милость и защиту...», раздался общий вопль:

– Смерть Годуновым! Слава государю Дмитрию Ивановичу!

В толпе замелькали палки, дубины, вилы, а то и пищали – видать, принесли сочувственники из стрелецких полков.

Когда посланные бояре вернулись к лагерю Самозванца и объявили о полном благопристворивании его въезду в столицу, Отрепьев сначала засомневался.

– Нет, правду говорите? – оглядываясь на окружавших его бояр и воевод, спрашивал он. – Москвичи готовы меня принять?

– Да Москва уже твоя, государь, – подтвердил Пушкин.

– А что с Годуновыми? – осторожно сказал Самозванец, не обращаясь ни к кому поименно. – Они где?

– Они пока спрятались, – также неопределенно произнес Басманов и стал шептать что-то Василию Голицыну.

«Царевич Дмитрий Иванович» сделал удивленный вид и пошел куда-то, сопровождаемый своим постельничим Иваном Безобразовым, князем Мосальским и князем Михаилом Голицыным.

Князь Василий Голицын, Басманов и еще несколько придворных стояли, тихо переговариваясь. Среди них находились бывшие опричники царя Ивана Грозного Молчанов и Шереметевы.

Утром небольшой отряд конных стрельцов во главе с князем Голицыным, а также Молчановым и Шереметевым подъехал к старому годуновскому дворцу. Спешились. Голицын с Молчановым, Шереметевым и еще четверо вошли в нижние покои.

Голицын остался внизу. Молчанов, Шереметев и остальные стрельцы стали подниматься расписной лестницей на второй этаж.

– Дмитрий Иванович приказал Ксению не трогать, – напомнил князь Молчанов. – Только волчицу и волчонка.

– Понятно. Царевну себе приберег, – ухмыльнувшись, сказал Молчанов. – Ну и правильно.

Шереметев тоже заигрывал, показывая крупные татарские зубы. Вошли в верхние комнаты. Послышалась какая-то возня. Потом женский вскрик и звон сабельного клинка. Топот ног и опять тишина.

Спустился Молчанов, улыбаясь напряженной улыбкой.

– Конечно, Василий Васильевич, со старухой.

– А Ксению потом, когда толпа разойдется, увези на подворье Мосальского. В закрытом возке чтоб...

Наконец появился на лестнице Шереметев со стрельцами, зажимая пораненную руку. Подходя к князю, молвил:

– Царенок саблей махать хотел. Хорошо, ребята помогли.

– Не рубанули его?

– Нет, нет. Лицо целое. Придушили.

– Ладно. Приготовьтесь тут на всякий случай. Зарядите пистолы. Сабли наголо тоже... Но, вообще-то, думаю – обойдется. Кто за них будет биться? А?

Князь Голицын вышел на крыльцо и объявил толпе человек в триста, ожидавших у дворца:

– По повелению государя Дмитрия Ивановича мы прибыли взять Годуновых за караул. Но, убоявшись праведного суда, бывшая царица Мария и сын ее Федор приняли яд. Мы видели их мертвые тела. – Князь перекрестился. – Да упокоит их души Господь Бог наш.

Толпа молчала, шевелилась невнятно. Кто-то громко сказал: «Туда им и дорога». Неожиданно где-то в задних рядах жалобно заплакала женщина.

– Ну, ну! Что еще там? – прикрикнул Голицын. – Все! Айда по домам.

На плакавшую женщину, кажется, бывшую няньку Федора Годунова, зашикали. Она пропала. Люди молча разошлись.

Голицын и стрельцы сели на коней и поскакали в Серпухов, в лагерь Самозванца.

На другой день к Успенскому собору в Кремле подъехал отряд стрельцов в синих кафтаных. Предводительствовал им воевода Петр Басманов.

Прямо во время литургической службы воевода со стрельцами вломился в алтарь и схватили патриарха Иова. Причем вытащили его из алтаря за седую бороду. Кто-то из стрельцов отнял у патриарха пастырский посох, другой сорвал с головы митру, третий толкал старика в спину.

– Низложить злодея, поносившего прилюдно государя нашего Дмитрия Ивановича! – приказал Басманов.

– Низложить! – подготовленно и дружно рявкнули стрельцы.

Со старца сорвали ризу, вытряхнули его из епитрахили. Отняли панагию³³. Плачущего патриарха наскоро облачили в черную монашескую рясу, на голову натянули клобук и поволокли из храма сквозь шарахающуюся толпу.

Никто не посмел защитить, даже голос подать за опального архипастыря. Кто будет рисковать своей головой ради Иова, верного ненавистному Годунову и поносившего прибывшего на Русь государя Дмитрия Ивановича? Таковых не нашлось.

Патриарха затолкали в грязный возок и повезли куда-то на север, в заброшенный Старицкий монастырь.

Тело царя Бориса выкопали в Архангельском соборе, положили в простой гроб и вместе с женой и сыном погребли при Варсонофьевском монастыре на Сретенке.

³³ Епитрахиль – часть облачения священника; панагия – нагрудный знак архиерея.

VII

Москва встречала ехавшего из Серпухова нового государя многоголосыми радостными кликами и звоном колоколов. Сбегались к Красной площади.

Сначала вошло бывшее царское войско, частично осевшее в Серпухове и московских пригородах. Стрелецкие полки в красных, синих и белых кафтанах шли во главе обоза, растянувшегося в три версты. После обоза молодцевато гарцевала на красавцах конях, в ярких кунтушах, в золоченых шлемах или бархатных колпаках с перьями польская рота капитана Доморацкого, предшествуя сверкающей золотыми накладками царской карете.

Самозванец поглядывал из кареты на всклокоченные, обнаженные мужицкие головы, на кики и платки баб, на ребят и подростков, махавших шапками с деревьев, усеявших крыши и заборы.

Думалось: «Прямо въезд Христа во Иерусалим на осли. Не машут только, как иудеи, пальмовыми ветвями-вайями». В церковной словесности Отрепьев был знаток. Однако кольнула неприятно, будто остренькой спицей, мысль: «Въезд-то похож на евангельский, да не случилось бы синедринова суда³⁴ и распятия...» От этой мысли чуть стало тошнотно, но он продолжал милостиво улыбаться и кивать рыжей своей бесшабашной головой в высокой горлатной шапке.

Царскую карету окружали всадники – князья московские, известные каждому, такие как Голицын, Скопин-Шуйский, Шуйские – Дмитрий и Михаил, Лыков, Татев, Измайлов, Мстиславский, Воротынский, воевода Басманов и прочие. За каретой строго поблескивали латами да касками наемные ландскнехты Якоба Маржерета. И снова ехали вразнобой поляки, русские, кое-кто из иностранцев с Кукуя.

У Василия Блаженного некоронованного еще царя ждало духовенство в золотых праздничных ризах. Архиерей Арсений отслужил благодарственный молебен и благословил Григория Отрепьева образом Владимирской Богоматери. Тот с приличествующей торжественностью икону поцеловал.

В сопровождении клира и поляков-телохранителей он вступил на Ивановскую площадь Кремля. Тут, воспользовавшись наставшей тишиной, музыканты из польской роты Доморацкого грянули в трубы и литавры веселый марш.

Присутствующие при церемонии русские обалдело разинули рты. На музыкантов махали: «Замолчите! Осадите, ляхи негодные, кощунники!» Царь направился в Архангельский собор поклониться могилам отца – Иоанна Грозного и брата Федора Иоанновича, а тут музыка.

Посетил царь и Успенский собор (главную святыню Руси), отслушал псалмы и направился во дворец, в Грановитую палату. Тут он воссел на трон московских царей, положил руки на подлокотники и сделал надменный вид. Все князья и бояре низко ему поклонились, достав рукой пола. Поклонились и поляки, однако в соответствии с природным гонором – лишь слегка. Они и своему-то Сигизмунду кланялись обычно не глубже.

«Ну вот, – усмехнулся про себя Юшка, то есть Гришка Отрепьев, поглядывая сверху вниз на одураленных, а может быть, притворяющихся только бояр и поляков. – Вот я и на троне...» Он вспомнил свою опрометчивую до безумства юношескую фразу, сказанную кому-то в патриарших палатах: «Буду царем на Москве...» Втемяшилось это в голову иноку Григорию после того, как рассказал ему о царевиче Димитрии старый монах Пимен, бывший когда-то стольником при дворах царей Ивана Васильевича и Федора Иоанновича.

³⁴ Синедрион – по Евангелию, осудивший Христа совет священников иерусалимского храма.

Вспомнилось бегство из Москвы с расстригой Варлаамом и печальным (расстригой же) постником Мисаилом. Да, было дело... И вот – увенчалось успехом. До безумия поразительно. Или промыслительно – волею Божией. Ай да Юшка! Ай да молодец!

Через несколько дней Димитрий Иванович сделал несколько назначений.

Михаил Скопин-Шуйский объявлен после особого рыцарского (католического) обряда «мечником» – как у польского короля. При каких-нибудь торжествах, при общении с иностранными послами или просто в Боярской думе Скопин должен был представлять перед взором государя в латах, епанче и с длинным прямым мечом у пояса. После окончания Думы Михаил обязан уходить последним за отбытием царя, сопровождаемого четырьмя рындами³⁵.

– Прости, государь, с чего ты изволил обласкать Мишку Скопина? – посмел спросить постельничий Безобразов.

– А что? – поднял брови «государь».

– Ну... Скопин-то Шуйский все-таки. А Шуйские они... как бы сказать... много лишнего болтают.

– Это ты про старика Василия? Что ж, надо будет, опалу на него наложим. Может, даже и того... А племянник за дядьку не отвечает. Он человек старательный, неглупый. И, по моему мнению, почтительный, верный слуга наш. А еще в Священном Писании есть пример. Судья Самуил выбрал в цари Израиля молодца Саула потому, что из всего народа тот в плечах был выше всех.

– Так ведь, государь Димитрий Иванович... в цари... Не дай господь у Мишки после твоей милости мысля такая явится... Ой-е-ей!..

– Ну, до того, я думаю, не дойдет, – засмеялся «царь». – Пусть Скопин служит меченошей у меня, а там поглядим. Зато он из всех бояр моих самый рослый и баской³⁶.

Когда новый царь был уже во дворце, из Кремля на Красную площадь выехал освобожденный из ссылки Годунова князь Богдан Бельский, окруженный боярами и дьяками. Он взошел на Лобное место и громко свидетельствовал перед всем народом: новый царь истинный есть Димитрий. И в доказательство правды слов своих поцеловал крест.

Но другое свидетельствовал человек, который при жизни царя Бориса торжественно объявлял московскому люду, что царевич убит, и тот, кто называется его именем, есть Гришка Отрепьев. Князь Василий Шуйский не повторил этого свидетельства по смерти Годунова. Не повторил, когда оно было всего нужнее, когда Пушкин и Плещеев читали на Лобном месте грамоту Лжедмитрия и толпа устремила к Кремлю, чтобы сбросить с престола Федора Годунова.

Когда же с Годуновыми было покончено, а Самозванец с горстью поляков вошел в Москву и, хотя еще не короновался, считался всеми царем, Шуйский начал повторять прежнее свое свидетельство. Он объявил об этом торговому человеку Федору Коневу, а следом какому-то лекарю – и поручил им разглашать это тайно в народе. Но Конев и другой поверенный Шуйского не умели распространять крамольные слухи исподтишка. Их заприметили люди из слуг Басманова.

Узнав о злокозненных слухах и от кого они идут, Басманов донес царю. Оказалось, Шуйский хотел поджечь посольский двор, занимаемый поляками Доморацкого, и с этого приступить к восстанию против Лжедмитрия.

Шуйский был схвачен и доставлен к царю. Тот передал дело на суд высшему собору. На этом соборе кроме духовенства и членов Думы присутствовали представители простого

³⁵ Рында – юноша из знатной семьи, в обязанности которого было сопровождать царя с топориком на плече; рынды одевались во все белое – шапки, кафтаны и сапоги.

³⁶ Баской – красивый.

московского люда: купцы и ремесленники из уважаемых горожан. Причем никто из простых людей не высказался за Шуйского, все на него кричали и упрекали во лжи.

По свидетельству иностранцев, Лжедмитрий сам оспаривал князя Шуйского и уличил его в клевете. Говорил молодой «государь» с таким искусством и умом, что весь собор пришел в изумление. Сомнений в правоте «Димитрия Ивановича» ни у кого не осталось. Собор решил, что Шуйский достоин смерти. Казнь назначили на 25 июня.

А за день до этого дня «Димитрий Иванович» устроил охоту в старых угодьях царя Бориса, за Серебряным бором, на берегу Москвы-реки.

Охота была «соколиная», то есть особенно любимая и распространенная в те времена среди монархов и знати – как в Европе, так и в странах Востока. Соколиная охота относилась к благородному развлечению. Белые, серые, даже красные сокола и кречеты ценились необычайно высоко. Стоимость их могла превышать сотни золотых монет.

– Я знаю, что батюшка мой Иван Васильевич в молодые годы очень любил поохотиться с соколами, – хитро прищуриваясь и натягивая поводья своего высокого серого коня, говорил «царь Димитрий Иванович». Он обращался к Петру Басманову и Михаилу Скопину-Шуйскому. – Мне старый князь Одоевский рассказывал. У него, у батюшки-то моего, в Новинском³⁷ целая слобода предоставлена была соколятникам. И еще, мол, послал Иван Васильевич королеве аглицкой Лизавете многие подарки. Жениться он однажды на ней задумал, да она ему отказала... ха-ха...

– О, ваш знаменитый отец, государь, устроить свой брак с Елизаветой намеривался напрасно. Английская королева, как я случайно слышал в Польше от одного путешествовавшего пана, необычайная женщина. – Капитан Доморацкий, тоже приглашенный на царскую охоту, подъехал сзади и без церемоний вступил в разговор.

– Что значит «необычайная», пан Доморацкий? Больная? – заинтересованно спросил Самозванец.

– Ну что-то в таком понимании, если рассуждать о природных свойствах женщин. Елизавета Английская ведь так и не пошла замуж – ни за французского короля, который слал к ней нарочно для этого послов, ни за... вашего великого отца, государь, ни за кого-либо из английских или шотландских герцогов. Так и скончалась девственницей. Однако, то сплетничала вся Европа, имела множество молодых, красивых любовников.

«Димитрий Иванович» расхохотался так весело, что откинул голову и едва удержал на голове шапку.

– А-ха-ха! – продолжал он, останавливая коня. – Чем же королева с ними занималась? Что они делали в постели-то?

– Но то осталось тайной для европейских дворов, Ваше Величество. Уж что-то они придумывали забавное. Видимо, какие-то постыдные штуки, да простят меня Езус Мария.

– Так вернемся к суждениям о соколах, не оставляя в покое аглицкую королеву, – отсмеявшись, продолжил «царь». – А в том-то чудо, что среди всяких драгоценных подарков, поистине царских, мой батюшка Иван Васильевич поручил представителю полномочному своему Иосифу Непее передать королеве Лизавете большого белого кречета вместе с серебряным барабаном в позлащенных обручах вместо вабила³⁸. А у нас, Тиша, – обратился «Димитрий Иванович» к старшему соколятнику, приземистому, с курчавой бородой Тихону Рябикову, – у нас-то для вабления что есть? Ну а сокольный мой сам Иван Телятевский, боярин опытный... Да-к чем вабить, Тиша?

– А колокольцами, государь, серебряными.

³⁷ Новинское – село в предместье Москвы, сейчас Новинский переулок.

³⁸ Вабило – предмет призыва для возвращения к охотнику полетевшего за добычей сокола или кречета. Употреблялись барабаны, колокольцы или бубенцы.

– Еще у Годунова соколиной охотой Телятевский ведал, – вставил, будто невзначай, Басманов и взглянул вопросительно.

– Ничего, он мне присягнул вольно, – бечпечно ухмыльнулся Самозванец. – Зато дело знает. Он и у братца моего тихого Федора Ивановича в сокольничих ходил. Давай, открывай короб, Тиша. Пора выпускать соколов.

– Чуть рано, осударь, обожди. Чичас пугальщики начнуть журавлей да цапель спугивать из рогоза да с болот. Тады и спустим наших соколиков-то. – Тихон Рябиков приложил к глазам ладонь козырьком.

Подъехал сбоку, сняв шапку и поклонившись до лошадиной гривы «царю», благообразный боярин Телятевский.

– Подготовились твои пугальщики-то, Наум Иваныч?

– А как же, государь, скоро начнут.

– Лишь бы после сгона-то и боя вернулись бы сокола на вабление дружно, – сказал Самозванец, немного волнуясь: такая уж у Отрепьева была горячая, тревожная, но смелая натура.

– Вот был случай один чудесный еще при батюшке твоём, государь, при Иване Васильевиче... В предании остался даже и у простого народа.

– А про что? – отвлекся от ожидания начала охоты «царь».

– Молодой царский сокольничий именем Трифон Патрикеев, из владимирских бояр родом, однажды по оплошности упустил любимого государева сокола. Ох, разгневался Иван Васильевич на молодого боярина и говорит: «Вот тебе, Трифон Патрикеев, три дня. Найдешь сокола, доставишь мне, – твое счастье. Нет... то грядет на тебя моя царская опала и при-суждается тебе казнь через отрубление головы». – Телятевский вздохнул и потупился. – Три дня и три ночи сокольничий провел в лесу, искал сокола... Сколько ни высматривал, сколько ни звал, ни вабил серебряными бубенцами... нет, как нет! Наконец, усталый, измученный, удрученный отчаяньем, присел отдохнуть. Да и задремал по случайности. И тотчас увидел сон: а во сне предстоит ему святой Трифон на белом коне и с соколом в руке. Сказал Патрикееву его заступник и покровитель, что царский сокол сидит на сосне недалеко от того места, а по направлению – к востоку. И правда, очнувшись от сна, нашел сокольничий сокола и отвез царю. «Что ж, – остался доволен Иван Васильевич, – сокол тот самый. Повезло тебе, Триша, ступай».

– Да уж, повезло так повезло, – заметил Михаила Скопин-Шуйский. – Крутенек был великий государь Иван Васильевич.

– А Патрикеев в благодарность за чудесное избавление и помощь построил святому Трифону сперва часовню, а потом храм. Царь же приказал, узнав о случившемся с его сокольничим, выстроить в Напрудной слободе каменный храм во имя святого Трифона, – закончил, довольный вниманием «Димитрия Ивановича», Телятевский.

– Я не стал бы рубить голову боярину из-за сокола, – задумчиво проговорил Самозванец. – Птица есть птица, несмышленная, бездушная. Соколов-то хватает, а вот людей верных...

– Открывайте короб-то! Выпускайте, пугальщики близко! – всполошился соколятник Тихон Рябиков. – Не прозевать ба... Надевай рукавицу-то, государь Митрий Иваныч...

Послышался шум с речного берега. Зашелестели внизу рогозы и камыши. Зачавкала на болоте тинная жижа.

Осторожно откинули крышку большого короба, где держали в темноте подготовленных к выпуску соколов. Рябиков достал первого. Посадил на сжатую в кулак охотничью перчатку Самозванца и сдернул с сокола колпачок. Птица встопорщила перья и подняла голову, оглядываясь с воинственным видом.

– Хорош, – раздувая ноздри, сказал «Димитрий Иванович».

– Подкидывай его, осударь! Вона цапля поднялась.

Большая белая цапля, взмахивая широкими крыльями и свесив длинные ноги, стала набирать высоту. Тут же подкинутый в воздух сокол помчался за ней стремительной серой тенью. Кривым яростным треугольником он взмыл выше цапли и, разогнавшись, ударил жертву. Посыпались белые перья. Цапля вскрикнула, повернула шею, пытаясь отбиться. Но сокол снова взмыл и опять ударил. Изломанно махая крыльями, тяжелая цапля рухнула близко к скачущим по берегу охотникам.

– Там, там упала, – указывал Доморацкий и тоже подбросил сокола. – Журавель, журавель!..

Выкатив глаза и топорща усы, поляк указывал на взлетающих из зарослей больших длинношеих журавлей.

– Гони холопов искать добычу! – крикнул Басманов Телятевскому. – Забьются в камыши птицы – не найдешь... Давай, не зевай!

– Никуда не денутся, Петр Федорович, – льстиво говорил новому царскому любимцу Телятевский.

– Эх, краса какая! Не соколы – стрелы! – Самозванец поднял коня на дыбы, развернулся на месте и поскакал обратно. – Где еще сокола? Давай новых, Тишка!

– Будут, осударь, не беспокойся... Достанем!

Охота продолжалась часа три. Потом слуги искали и подбирали добычу, пока вабили звоном колокольцев и пересчитывали соколов. Приуставшие, разгоряченные всадники ехали медленно по вытоптанному лужку.

Выбрав время, когда «царь» несколько отделился от остальных охотников, Михаила Скопин подъехал к нему и снял шапку.

– Государь Димитрий Иванович, не изволь гневаться, что тебе докучаю, – сказал он тихо. – С делом к тебе на охоте пристаю...

– А чего тебе, меченоша мой верный? – улыбаясь, спросил «царь». – Какая у тебя забота?

– Да за дядьку свою, непутевого трепуна челом бью. Смилуйся, государь, не казни старика. Отдай ему его вины, окажи Василию Иванову сыну Шуйскому царское снисхождение.

– Так ведь собор решил казнить князя Шуйского за его клевету на особу государеву, а? – полуспросил насмешливым тоном «Димитрий Иванович». – Али не так что?

– Все так, государь. – Скопин опустил голову. – Виноват старый брехун, как есть виноват. Вчерась ко мне в дом прибежала княгиня Катерина Григорьевна, в ноги бросалась. Молила перед тобой челом бить за князя Василия. Вот я и того... Обещал ей, разве перед женскими слезами устоишь... Прости, коли никак нельзя...

«И Федора Годунова жизни лишили, назвав царем, присягнув. А мать его в чем виновата? За что удушили старую царицу? И куда дели царевну Ксению? Где справедливость и закон? – думал, ожидая ответа “царя”, Скопин. – Матушка моя после ухода княгини верно сказала: “Вот и доигрался старый дурак. При Грозном чуть не угодил на плаху, при Борисе еле из-под топора вынули, отстояли, умолили Годунова. Поди в третий-то раз не выскользнет. А все душа его неумная власти алчет, с судьбой в игры играет. Да как бы за него, Миша, тебе в опалу не попасть...” О Господи! Пресвятая Матерь Божия, моли о нас, грешных».

По-своему думал Самозванец, слегка улыбаясь на прошение молодого князя Скопина-Шуйского: «Не стал бы я ходатайствовать за Василия Шуйского, будь я на твоём месте, Михаил. Ты человек честный, смелый, нелукавый, нежадный и независтливый... И дано тебе полководческое дарование, и решимость, и, может быть, воинская удача... Но всегда тебя будут ненавидеть и от зависти пухнуть все эти князья и бояре, думцы-глупцы и воеводы-недотёпы, осатаневшие из-за местнической спеси своей, одуревшие от темноты своей, незнания и жестокости... Вот коли ты при другом властителе... (Отрепьев переморгнул

и помрачнел, удерживая себя от тяжкого предчувствия) коли ты дашь промашку в чем... даже в пустяке, вроде как потере птицы при лютом звере царе Иоанне, чьего сынка зарезанного доводится мне теперь представлять, как в скоморошьем балагане... Да, промашки любой тебе не простят – и коли не казнят принародно, то найдут способ извести. Ибо светлое твое рвение об отечестве, о победах над вражьи́м станом, непохожесть твоя на родственников и совладельцев и соплеменников – все тебе упреком будет в угрюмых их умыслах и свирепых сердцах...» А еще другое раздумывал Григорий Отрепьев, надеясь на собственную изворотливость, на данное ему тонкое свойство правителя-дипломата среди мохнатых и клыкастых медведей-шатунов...

– Знаешь ли ты что-нибудь, Михаил, о мудром и отважном предводителе русского воинства, воеводе князе Воротынском? – неожиданно повернулся он в седле к Скопину.

– Слышал, государь, да немного. Вроде знать достаточно о нем не приходится, замалчивают. Вот дошло в поминании стариков, будто спас он, ведя малое войско, от несметной орды крымского хана Гирея Москву, уже сожженную раз дотла крымцами...

– Так вот послушай-ка. В летописях Чудского монастыря есть тайная запись о сражении при Молодне, недалече от речки Лопасни близ Серпухова. Когда навалилась Крымская орда, да вместе с ногаями, да с предателем, зятем царя Ивана, кабардинским князем Темрюком, то было их вдвое с лишком поболее, чем у моего «батюшки»... – Самозванец опять усмехнулся. – Один князь Хворостинин сумел так ударить в середину конной орды, употребив «Гуляй-город», стреляющий из ружей, фузей и пушек, что татары потеряли тысячи убитыми, а зашедший им в тыл князь Воротынский с ярой смелостью разил врага. Девлет-Гирей побежал, положив половину войска, и бежал до самого Крыма через степи. Битва та князя Хворостинина да князя Воротынского не менее важна для государства нашего, чем при князе Димитрии Донском Куликово поле, когда разбит был Мамай...

– Что же делал сам великий государь Иван Васильевич? – довольно робко спросил Скопин.

– Сбежал, бросив Москву и войско. Затворился с семьею да ближними боярами в Ростове Великом, – пренебрежительным тоном ответил «царь» и добавил: – А твоего болтливового дядю Шуйского я уже простил. Только хочу постращать его малость да приструнить. Пусть дело до плахи дойдет, тут ему указ мой зачитают. А знаешь ли чем отблагодарили воевод, спасших царя и Московское государство от полного разорения? Обвинил их Иван Васильевич, православный царь, спустя малое время в заговоре супротив своей государевой особы. Велел пытать их нещадно и отправить в ссылку. Хворостинин-то был прощен и долго еще воевал потом, продолжая быть воеводой. Да вот славный князь Воротынский от пыток в дороге преставился. Староват уже был, не выдержало сердце. А у меня к тебе, Михаил Васильевич, тоже поручение. Езжай-ка в Углич за матерью моей, царицей Марфой. Так надобно. Время подошло. Пора нам с нею принародно встретиться.

VIII

Множество зевак стеклось на Красную площадь, где предстояло отлететь на плахе голове князя Василия Ивановича Шуйского. Рюриковича, одного из самых известных думцев.

– Видать, в батюшку свою уродился, присной памяти Ивана Васильевича Грозного, – переговариваясь о новом царе бормотали в толпе.

– Вот и Митрий Иванович также начинает.

– Ну да-к как? Царя Шуйский вором назвал, Митрием самозванным. Какому самодержцу-то этакое понравится?

– Вчерась Петру Тургеневу да Федьке Калачнику головы отрубили. А нынче вот самому князю Шуйскому, да-а...

– По мне всем бы им башки пооттяпать. Во веселье-то было бы на Руси! – говорит с кривой ухмылкой курчавый, похожий на казака, молодец. В кожухе добротном, при сапогах дорогих и с пистолем – торчит из-за пазухи. Подбородок бритый, усы подковой, концами книзу. В правом ухе серьга серебряная.

– Ну, ты не очень-то тут хмыкай, ухарь донской, – вмешивается ражий кузнец Спиридон, многие его на Москве знали. – На одних смердах да нашем брате слобожанине государство не удержится. То ись и без нас нельзя... Но власть должна быть. Веводы, думные бояре да грамотные дьяки... А иначе крымцы, поляки да ливонцы живо Русь под себя подомнут, как пить дать. Так что всем башки не поотрубаешь, накладно выйдет.

Привезли князя Шуйского в простой телеге, запряженной паршивою лошадежкой. Старик бормотал молитву, свечка тонкая в костлявой его руке дрожала. И, как это часто в Москве бывает, пожалела толпа старого князя, хотя и ведала о его хищном и немилостивом нраве, о свойстве его лукавом в кручении разных подковырок и экивоков в Думе, грешили на него, что способен и заговорщиков собирать. Словом, старик хитрый и вредный, а все равно жалко. Сколько лет при разных царях голос на думных толковищах подает и не зря державою управляет.

Примолкли люди, глядя, как могучий палач в красной рубахе хвалится своей черною, во всю грудь, бородищей да кафтан с худых плеч князя сдирает. Говорил палач при этом Шуйскому что-то ободряющее. Успокаивал перед смертью.

Рядом с помостом сподвижник нового царя воевода Басманов прочитал бумагу с указанием вины Шуйского. Нервно вертелся в седле, покашливал. Один раз пытался приказать палачу: давай, мол, скорей... не волынь там, не тяни. Но палач и ухом не повел. Разговаривал с казнимым о чем-то, похлопывал Шуйского по спине, как друга на гулянке. Потом князь поклонился на четыре стороны, крикнул срывающимся сипатым голосом:

– Прости, народ православный! А я невинен перед Богом и государем.

Наконец палач взялся за топор, но стоял, долго не принимаясь за казнь, и будто чего-то выжидал. На Басманова, который опять его торопил, бросил косой взгляд с неприязнью. Чего-то медлил, чего-то знал: тоже ведь государственный человек.

Толпа совсем замерла: тихо стало так, что будто слышать как блохи перепрыгивают с шушунов на армяки да на однорядки³⁹. И вот копытный топот раздался от Фроловских ворот. Примчался в прогале шарахнувшейся толпы начальник отряда немецких ландскнехтов Яков Маржерет.

– Стой! – крикнул немец, размахивая свитком с печатью. – Отменяется казнь! Государь помиловал князя Шуйского!

³⁹ Шушуны, армяки, однорядки – верхняя одежда русского простонародья.

Народ на площади загалдел. Большинство восклицали радостно, славили царскую милость. Но были и недовольные. Одни желали досмотреть привычное зрелище до конца. Другие явно казались разочарованными: видно, имели зуб на Шуйского или по какой-то особенной причине.

Слухи пошли по Москве, будто самые уважаемые бояре да князья из Рюриковичей убедили Лжедмитрия помиловать Шуйского. Иные считали, будто вмешались поляки, а именно – настаивал царский секретарь Бучинский... из каких соображений, мало понятно. Скорее всего, в пику зверской расправе Ивана Грозного и Бориса Годунова с древними родами. Просил также Афанасий Власьев, которому Самозванец доверял международные, но, главное, личные дела. И мало кто знал о просьбе Михаила Скопина-Шуйского, а к нему «Дмитрий Иванович» испытывал вполне бескорыстную искреннюю приязнь. Словом, считал: Скопину доверять можно.

Как бы то ни было, Шуйского вместе с двумя братьями сослали в Галицкие прогороды, имение отобрали в казну. Однако, прежде чем они доехали до места ссылки, их возвратили в Москву. Отдали имение и боярство. «Государь» смеялся по тому поводу и имел с прощенным князем Шуйским шутивную беседу.

Следовало, по напоминанию окружающих, срочно разобраться с патриаршеством. Когда сунулись было помочь в религиозном избрании приехавшие с польскими военными иезуиты, они сразу получили твердый отказ. Участие их в делах православия было исключено.

«Дмитрий Иванович» вспомнил, как торжественно признал его рязанский архиепископ Игнатий, прежде служивший архиепископом на Кипре и родом грек. В Москве он оказался в царствование Федора Иоанновича. Когда Самозванец при вторжении на Русь подошел к Туле (Тула входила в рязанскую епархию) Игнатий встретил его как царя. Он-то теперь и был возведен в патриархи.

Новый патриарх разослал по всем областям грамоты о восшествии «Дмитрия» на престол и о возведении его, Игнатия, в патриаршеское достоинство. Причем предписывал молиться за царя и чтобы возвысил Господь его царскую десницу над латинством и басурманством. Но признание Игнатия не могло заменить признания перед всем православным миром матери, царицы – инокини Марфы (в миру Марии Федоровны).

Посланный в Углич мечник государев Михайла Скопин-Шуйский привез вдовствующую царицу-инокиню в легкой колымаге, сопровождаемой полусотней конных стрельцов, в село Тайнинское.

Из Углича везли тайно, в простой крытой повозке. Кругом кружили шайки разбойников. Один раз пришлось даже отбиваться, отстреливаться. Только за два перехода до Москвы Скопин-Шуйский отправил к Самозванцу царского постельничего с предупреждением о прибытии царицы-матери. Ее пересадили в Тайнинском в царскую золоченую карету.

Готовясь к встрече (причем к встрече прилюдной, всенародной), «царь» вызвал Басманова.

– Петр Федорович, нужно наладить в Тайнинском встречу моей матери инокине Марфе. Отправь туда богатую карету шестериком. И чтобы кони были все белые, а возчик и запяточные в шитых золотом кафтанах. Сможешь?

– Уже все посланы, государь. Так прямо, как ты указал. А встречать где будем?

– Я заранее сказал: в Тайнинском. И озаботься, главное, чтобы при нашей встрече побольше народу было. И на всем пути до Москвы тоже людей поставьте. Сгоните из деревень, что ли... Да, думаю, из Москвы тоже припожалуют. Меня чернь московская любит.

– А не опасно такое столпотворение? Вдруг злодей некий найдется? Или подошлют враги какого-нибудь одержимого с пищалью? Мало ли...

– На всякий случай растянуть стрелецкие полки вдоль дороги. А толпу от дороги отодвинуть, но всем чтобы хорошо видно было. И при въезде в Москву обязательно пушечный салют и колокольный звон во всех церквях. Когда же въедем в Кремль, чтобы ударили в колокол у Ивана Великого.

– Поселить где прикажешь матушку-царицу?

– В кремлевском Вознесенском монастыре, в лучших палатах.

И вот в Тайнинском, на широком лугу, встретились: золоченая карета с царицей Марфой и простая колымага, из которой бодро выскочил молодой царь и бросился обнимать грузную широколицую монахиню.

Расцеловавшись и вытирая слезы, долго держали друг друга за руки. Потом инокиня села в золоченую карету, а Самозванец шел рядом без шапки. И, уж пройдя шагов сто, уселся в свою колымагу о двух невзрачных лошадках.

В Москве женщины плакали, видя слезы матери-царицы и сына ее, нового государя Димитрия Ивановича. Наконец-то всякие дурные слухи рассеялись, и народ сам прикончил бы любого клеветника и охальника, который посмел бы сомневаться в истинности государя.

Пир в царском дворце показался всем роскошным, обильным, радостным, но при внимательном взгляде и довольно скромным – учитывая, наверное, что за столом сидела царица-монахиня с почтительным ее сыном – царем всея Руси Великой.

Столы ломились от осетров с Волги, балыков с Беловодья, от бараньих боков с греческой черной кашей, от кабаньих окороков польских да от жареных лебедей, индеек и журавлей с сарацинским⁴⁰ разварным зерном, от заморских редкостных фруктов, истекающих сладостью. На столе в золоченых баклагах, серебряных кувшинах, в резных узорчатых флягах и бутылках венецейского цветного стекла поданы венгерские и фряжские⁴¹ вина, польские, настоянные на травах водки, и медовые сыченые русские напитки разной крепости и густоты.

Однако не звучала музыка трубачей из роты пана Доморацкого, не верещали, не дудели скоморошья дудки и свирели, не звенели гусельные переборы, не трещали барабаны, не звякали бубны и цимбалы, что нередко требовал на пирах «Димитрий Иванович» и его польские соратники. Только единожды сбившиеся кучкой, в углу где-то, пятеро монахинь тихо пропели умильными, детскими голосками: «Очи всех на Тя, Господи, уповают и Ты даеши им пищу во благовремении, отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое благоволение».

Да еще диакон низким и гулким зверообразным басом провозгласил «Матушке-государыне и сыну ея великому государю, царю Димитрию Ивановичу... Мно-о-огая лета...» Но ни один думский боярин, никакой князь, Рюрикович либо Гедеминovich, не позволил себе допустить состояния хмельного и не посмел издать разудалого возгласа, тем нарушив порядок торжественности и благолепия. Повставали с седалищ своих и убрались с нижайшими поклонами довольно рано, не засиживаясь, чтобы не утомить царицу-монахиню с сыном и не помешать сдержанному любованию их благоговейной любви.

А ближе к ночному времени подъехал к заднему крыльцу царского дворца возок крытый, небольшой. Караульным стрельцам сказали что-то невнятное с облучка. Они крякнули в ответ так же невразумительно. Из возка мелькнула стройная женского очертания тень в длинном покрывале, будто у басурманской жены, а за ней широкая тень в большой бабьей кике⁴² и платке округ плеч. Переваливаясь по-утиному, широкая последовала за первой, чуть подталкивая ее, подымаясь по крутой лесенке.

⁴⁰ Сарацинское зерно – рис.

⁴¹ Фряжские вина – итальянские или французские.

⁴² Кика – богатый женский головной убор.

– Че робеешь? Ступай, дитятко, не кручинься. Господь помилует, Богородица Пречистая спасет-заступится...

В притененной горнице (горел трехгнездый шандал со свечами) от постели за шелковым пологом до столика, где светился отражением серебряный тонкогорлый кумган⁴³, миска со сладкими заедками и две чаши, ходил выжидающе Самозванец. Одет был в голубую расшитую рубашку, в неширокие польские шаровары и мягкие на каблуках сапожки. Охваченный в тонком поясе ремешком, ладно выглядел даже при небольшом своем росте. Время от времени поглаживал короткую бородку и подкрученные кверху усы. Свет от свечей словно переливался в его рыжих приглаженных волосах.

Дверца скрипнула, заглянул Безобразов.

– Что там, Иван?

– Привезли, государь.

– Мамку ее займи, угости в нижней горнице. Да людей на страже проверь. И сам пригляди за всем. Мамку спать уложи где ни то, понял?

– Как не понять... Все сделаю.

Безобразов исчез. Колыхнулась на дверном проеме завеса. Вошла с робостью высокая девушка. На лицо опущена кисея. Самозванец смотрел молча. Она тоже молча поклонилась. Потом стояла перед ним, почти не дыша.

– Ну, здрава буди, Ксения Борисовна.

– Здрав будь, великий государь. – Голос тихий, печальный.

– Давно я тебя жду. Как парсуну⁴⁴ твою увидел, так сердцем прикипел. Лучшей девицы я ни в Литве, ни в Туретчине не видывал. – Самозванец подошел близко, осторожно взял за края кисейное покрывало. Откинул.

Перед ним опущенное с грустью бледное личико. Ненарумянена. Тонкие черные брови вразлет. Ресницы длинные скрывают глаза. На голове небогатый девичий кокошник. Из-под него видны темные волосы, зачесанные за уши с золотыми сережками.

– На парсуне-то хуже, – улыбочиво сказал Отрепьев, невольно любуясь и разгораясь внутри. – В жизни истинно красавица, Ксения Борисовна.

– Спаси Господи, государь Димитрий Иванович. Недостойна я, сирота, твоих царских похвал. – По бледным нежным щекам побежали струйками слезы. Бывшая царевна Ксения Годунова закрыла лицо рукавом. На стройной девичьей фигурке скромный сарафан и сорочка с круглыми пуговками, по подолу вышиты зеленые травы, около шеи серебристая оторочка.

– Ну что ты, Ксюша, чего так печаловаться, – с видимым сочувствием произнес «царь». – Жизнь-то сурова. Ничего впереди не видать, а она вдруг и обидит. Я тебя жалею, Ксюша, не плачь.

– Маманю и братца Федюшу жалко. Пошто их было убивать? – Ксения перестала плакать. Вскинула большие глаза, посмотрела вопросительно, без упрека. Бывшая царская дочь знала о казнях при ее отце Борисе Федоровиче, знала, чем кончается почти всегда развенчание, потеря трона. Учить ее страшным безжалостным законам не требовалось, но она все-таки спросила.

– Я-то при чем, – довольно жарко начал оправдываться Самозванец. – Я такого приказа никому не отдавал, клянусь святым живоносным крестом. (Он действительно не приказывал душить Годуновых, только намекнул вскользь Басманову, а так... греха на душу не брал.)

– Что так жестоко... по-другому бы... – трудно вымолвила Ксения, хотя знала, что «по-другому» быть и не могло.

⁴³ Кумган – восточный кувшин особой формы.

⁴⁴ Парсуна – портрет, картина.

– Волки свирепые службу свою несут, и так вот царю угождают, – продолжил «Димитрий Иванович». – А я этакое не желал. Думал, по-христиански дело царское закончить, без смертоубийства. Матушку твою поместить в обитель... какую захочет... Либо за Девичье поле, в Новый монастырь, либо в суздальский Покровский... Там многие великие княжны и царицы жизнь свою в старости проводили. Что же до Федора, то хотел снабдить его всем, что знатному рыцарю надобно, и слуг послать, и охрану... Ну и, чтобы лишних-то свар не разводить, оправдать его к шведскому королю... Служил бы при дворе Карла, воинскую науку постигал... А там бы женился на маркграфине какой, а? Ягода-малина... Чем плохо? Обязательно трона что ль добиваться?..

– Убили... – вздохнув, повторила Ксения. Она понимала, конечно, что он все лжет.

– А мне сказывали, будто вдова и сын Годунова отравились. И никаких ран и увечий на них не видали. – Самозванец пожал плечами, обеими руками взял бывшую царевну под локти и придвинул к себе. – Хорошо хоть твою красу ненаглядную не тронули, пощадили. Не страшись меня, Ксюша, не ожидай от меня дурного. Кохай меня, как говорят поляки, сядь на скамью со мною, нальем чаши. Помянем умерших. Да ободрим живых... – Отрепьев налил из узкого горла серебряного кумгана красное искристое вино. Одну чашу дал в дрожащие руки Ксении Годуновой, другую взял сам.

Сидели, говорили еще немного, опять наливали чаши.

– Коханая, царевна-сиротка... Полюбишь меня?

Ксения во всем с ним соглашалась, только покорно клонила голову, когда целовал. Разогревшись, «Димитрий» стал снимать с нее одежды. Она закрыла лицо белыми руками с одним перстнем – подарком от давно умершего жениха, датского принца.

– Ой, стыдно... Не умею я, не обыкла...

– Привыкнешь, Ксюша... – и «Димитрий» дунул на свечи.

IX

Еще будучи в Польше, Лжедмитрий говорил о заочном покровительстве, оказанном ему двумя умнейшими и образованными думными дьяками братьями Щелкаловыми. И примечательно, что Годунов Василия Щелкалова от государственных дел отстранил. А потому (невиданное дело) по прибытии в Москву «Димитрий Иванович» пожаловал Василия из думных дьяков в окольничие⁴⁵.

Родственники же и приверженцы бывшего царя подверглись ссылке – всего семьдесят четыре семейства. Однако это было исполнение пожеланий соратников «Димитрия» из древних княжеских родов и думских бояр.

Не проходило дня, чтобы «царь» не присутствовал в Думе. Иногда, слушая долговременные споры бояр, он смеялся и говорил: «Столько часов рассуждаете и все бестолку! Так я вам скажу: дело вот в чем!» – и, ко всеобщему удивлению, легко решал сложные финансовые или международные неурядицы, над которыми бояре бились долгое время. Вообще он любил и умел говорить, как все тогдашние грамотеи, приводя примеры из Священного Писания, из истории разных народов, а иногда рассказывал случаи собственной жизни – приукрашенной и надуманной.

Его живой ум, знания на уровне европейских толкователей того времени вызывали у многих думцев не только удивление, но и зависть. Этот свойственный людям яд уже проникал в их сумрачное сознание. Не благое и смиренное почитание царя да стремление выслужиться перед ним, а неприязненное отторжение, даже злоба начинали копиться в душах спесивых Рюриковичей, Гедиминовичей и прочих седобородых думцев. «Ишь щенок возликий, вьюн вертлявый, – бормотали про себя великородные старцы, – все показать хочет свою смекалку да ловкость. Набрался в латинщине тарабарщины разной, а где истинная мудрость, где достойное размышление, обретенное от святоотеческого кладезя – и не понимает». И в дополнение к таким мыслям уже сплеталось в клубки коварных замыслов доподлинное и свирепое корыстолюбие.

А Самозванец, не замечая их последних настроений, нередко упрекал думных людей в невежестве, впрочем, без грубости, скорее – ласково. Говорил, что надобно им измениться, ибо они ничего не видали, ничему не учились, обещал им позволить ездить в чужие земли, где они могли бы получить всякие полезные сведения. Этим он оскорблял их самомнение родовитых властителей и сознание православных блюстителей веры. Призыв поучиться у чужестранцев бояре воспринимали как еретичество.

По приезде обретенной матери и с ее (инокини Марфы) благословения Лжедмитрий венчался на царство. Весь обряд невероятно его забавлял и развлекал. Например, надев шапку Мономаха, он улыбался и, хотя и невнятно, но весело и удовлетворенно что-то про себя бормотал. Марфа, в свою очередь, очень искусно изображала нежную мать. При венчании «сына», все время радостно била поклоны перед иконами Богородицы, крестилась и плакала. Видя такое ликование матери нового царя – дитяти ее, – многие люди тоже плакали, особенно женщины из простого народа.

Как-то, после венчания на царство, «Димитрий» пришел поговорить с «матерью». Ему, казалось, что она, хотя все и понимает, притворяется ловко, все же, наверное, вправду болеет за него сердцем, раз уж нету настоящего сына. К тому ж он отомстил Годунову, погубившему ее родного.

Присев к столу, стал расспрашивать:

⁴⁵ Окольничий – высокая придворная должность.

– Матушка, я слышал, Годунов сослал тебя на Белоозеро, в глушь чудскую...⁴⁶ Как же случилось, что ты оказалась в Угличе в Богоявленском монастыре?

– Ох, помню, – вздыхая, вспомнила Марфа, – когда ты, сынок, явился с войском в Путивле, привезли меня по приказанию Борисову в Москву. Ну, поселили в Новом монастыре за Девичьем полем, а ночью явился Годунов со своей Марьей-то Григорьевной, царицей-то. И давай у меня допытываться: «Жив твой сын али умер?» Отвечаю: «Неизвестно мне, одному Господу ведомо». Тут Марья схватила подсвечник с горящей свечой и – на меня. «Я, – кричит, – те, сука, Манька Нагая, zenки твои бесстыжие выжгу...» Я заплакала: «Вся надежда на Господа нашего Иисуса Христа, а я ни в чем не виновата». Борис говорит: «Ладно. Скажешь с Лобного места на всю Москву, что сын твой мертвый?» – «Вся надежда на Бога. А супротив Бога, как я могу такое сказать, коли мне нету от него приказа?» – и на пол упала, как есть без дыхания. Они от меня и отстали. Попросилась я потом в Богоявленский монастырь. Ну и отвезли меня в Углич.

– Умная ты у меня, матушка, – улыбнулся Марфе признательно Самозванец.

А когда с охраной шел к себе почивать, прикинул в уме: лукавила инокия Марфа, недоговаривала, что упросила царя Бориса быть ей в Угличе, поближе к дорогой могилке.

Утвердясь на троне, Лжедмитрий объявил милости к преданным или родственно близким людям. Мнимый дядя «царя», Михайла Федорович Нагой, получил звание конюшего боярина. Филарет Никитич Романов возведен в сан Ростовского митрополита, а брату его, Ивану Никитичу, жаловано боярство. Бывший царь и великий князь Тверской Симеон Бекбулатович, был также вызван из ссылки и с прежней честью (как при Федоре Иоанновиче) явился при дворе. Мнимый сын Грозного соперничества Симеона Бекбулатовича не боялся.

Поляки, бывшие с ним, такие как Бучинский, Доморацкий и некоторые другие, советовали ему принять строгие меры против подозрительных людей. Но Самозванец ответил, что дал обет Богу не проливать христианской крови; что есть два способа удерживать подданных в повиновении: одно – быть жестоким мучителем, другое – расточать награды и стараться быть щедрым. Он избрал, заявил полякам Лжедмитрий, последнее средство.

Велел он заплатить всем людям деньги, взятые в долг еще Иваном Грозным и неотданные. К ликованию стрелецких полков и ведущих дела в разных служебных приказах, жалование служилым людям было удвоено. Духовенству подтвердили старые льготы и составили новые грамоты. «Царь» избрал себе в духовники архимандрита Рождественского монастыря во Владимире. Отдал также указание продолжать печатание священных книг. Так, отпечатанный в Москве Иваном Небезиным «Апостол» имел в предисловии следующие строки: «Повелением поборника благочестия и божественных велений ревнителя, благоверного и христоролюбивого государя всея России, крестоносного царя и великого князя Димитрия Ивановича».

Относительно крестьян и холопов в правление Лжедмитрия были сделаны многие новшества и упорядочения к тем крестьянам, которые совершили побеги не по своей вине или из-за несправедливо наложенной на них кабалы.

Были перечислены многие сложные случаи, и царь находил в них положения справедливости или несправедливости. Говорилось, например: «Если же отец с сыном или брат с братом станут по служилым кабалам на ком-нибудь искать холопства, то этим истцам отказывать, а тех людей, на кого они кабалу положат, освободить на волю».

Закон этот имел целью ограничить распространение холопства, чтобы сын или вообще наследник не мог наследовать холопов умершего отца или родственника. Этот и другие законы, касающиеся закрепощенных или вольных хлебопашцев, несколько смягчили про-

⁴⁶ Чудская – финская.

извол и наказания господствующего сословия над бесправными мужиками. Все говорило о том, что «Димитрий Иванович» делал поползновения к установлению порядка в Московской державе, несмотря на недовольство закоснелых в своей жестокости владетелей и всяких главенствующих и начальствующих чинов.

Наконец-то предоставилась возможность распорядиться государственной казной. Дума переругалась. Долго пыхтела, устраивала счеты и пересчеты. «Димитрий Иванович» на думских «сидениях» и ухом не вел. Слушал молча, а губы сложил ижицей.

– Государь, скажи свое слово, ясное солнышко, – приставали старые бояре, вспотев в шубах и ферязях⁴⁷. – Скажи на чем установление сделать. Не то щас князя бороды друг у друга повыдерут. Ей-ей, прикажи: как быть-то? Казна у нас ноне совсем тоща.

– Рассчитать надо поляков и казаков, – вдруг отрывисто произнес «царь».

Те бояре, которые сидели на скамьях, покрытых коврами, только хлопнули себя по ляжкам. А другие, в рьяности препирательства вставшие, от неожиданности упали на скамьи задом.

– Верно! – вскричали Мстиславский и Телятевский, заиграли подслеповатыми глазами и даже подтолкнули друг друга.

– Истинная правда, – поддержали все остальные.

– А если князя бороды будут у несогласных драть, – пошутил «царь». – То вот тут мой меченоша Михайла Скопин-Шуйский вынет меч и ругателей всех разгонит.

– Ха-ха! О-хо-хо! – захохотала Дума, умиляясь на решительность и сообразительность своего «царя».

Улыбаясь, Михайла Скопин взялся за крестообразную ручку меча и встал. Он как бы выглядывал среди князей и бояр недовольных драчунов.

Дума опять грохнула. Качали со смехом головами, вытирали мокрые шеи платком. Расправляли бороды.

– Секретаря Бучинского ко мне. Быстро, – сказал Самозванец. Когда тот через несколько минут вошел, кланяясь «царю» и боярам, «Димитрий Иванович» произнес:

– Ян, пошли в казначейство и передай решение Сената, то есть государственной Думы: согласно росписям пусть рассчитают всех.

– Что? Всех хочешь распустить, государь?

– Роту Доморацкого оставить. Это моя личная охрана. А нанятых Мнишеком грабителей на все четыре стороны.

– А как же казаки?

– Казаков в первую очередь. Вызови атаманов со списками. А мне пришли Сутупова, канцлера моего.

Прибежавшему почти рысью Сутупову «Димитрий» приказал:

– Богдан, озаботься государевыми кружалами. С сего случая ты значишься канцлером. Сегодня и шляхте, и казакам будут выдавать деньги за всю бывшую их службу. Так вот: чтобы более половины этого воротилось в казну через кабаки. Посему вели целовальникам отпускать водку день и ночь, без отказа. Кто не исполнит нашей придумки, тому батоги вlepить на торгу для вразумления. Правильно сказал старик в Думе... как его звать забыл... «казна нынче тоща».

Попирававши отчаянно, проигравши деньги в кости, к тому же нарядившись роскошно сверх всякой меры и даже богато разодев своих слуг, поляки снова обратились к царю с требованием денег, но получили отказ. Тогда весь этот разбойничий сброд (в том числе грабители из Северской Украины, черкасы и другие свободные вояки) отправились в Польшу

⁴⁷ Ферязь – длинный, расшитый дорогой боярский кафтан с высоко поднятым воротником.

с громкими жалобами на неблагодарность «Димитрия». Они послали своих представителей даже к королю Сигизмунду. Однако король их не принял.

При Лжедимитрии осталось всего несколько поляков, его старых приятелей, способных людей, необходимых для сношения с Польшей. Так же осталась дисциплинированная рота Доморацкого и еще несколько десятков иностранцев-телохранителей, которые были набраны еще Годуновым из ливонцев. Ими командовал Яков Маржерет.

Итак, государь «Димитрий Иванович» человек молодой, с необычайно деятельной и горячей натурой, побывавший на чужбине, принимавший, может быть, участие в запорожских набегах на турецкую Порту, не мог довольствоваться правилами и обычаями, господствовавшими при московском дворе. Он ввел за обедом у себя музыку, причем даже на посольских обедах. В присутствии иностранцев и знатнейших русских вельмож, князей и бояр, развлекался веселыми маршами, песнями и танцами. Для этого брали польских и ливонских музыкантов, а также подготовленных и наученных девиц. Это уж явно было «ради адского соблазна».

Длиннобородые истовые бояре, привыкшие, особенно при Федоре Иоанновиче, к религиозной торжественности и традициям византийского благолепия, воспринимали новшества в быту молодого «царя» как сатанинство, еретичество, недопустимое поношение православного уклада. Впрочем, при Борисе Годунове тоже не отказывались от общения с иностранцами, от приглашения их на службу и от зарубежного способа веселиться.

Вообще все «истинное» нарушалось «Димитрием» как назло. Он не молился перед обедом, в конце обеда не мыл руки, а после обеда не спал. Говорили, что он ел телятину, что осуждалось, потому что было у русских не в обычае.

«Еще бы кобылятину подавать к столу стали», – ворчали старые блюстители православной старины, намекая на употребление в пищу конского мяса у татар, башкир, киргиз-кайсаков, по преимуществу к тому времени, – мусульман. Все непривычное при царском дворе расценивалось прежде всего с политической позиции, при особом влиянии церкви.

Оглядываясь и перемигиваясь в переходах дворца, дотошные царедворцы шептались друг другу на ухо по-приятельски:

– Наш-то Митрий-то в баню не ходит, а моется в бадье... Ей-ей, времени у его не хватает, вишь. Все казну считает с дьяками, со Щелкаловыми, да с етим сикритарем своим, ляхом Бучинским, хитрой лисой. В общем-то, бояре привирали, говоря о бане. «Димитрий Иванович» как раз любил попариться с друзьями и попить медовухи.

– А то еще в мастерские ходит, допытывается, какой кузнец лучше железо кует, да какие умельцы ловчее пули льют... Царское ли дело с мастерьем якшаться, со смердами... Нет, чтобы встать поране да заутреню отстоять, обедню раннюю отмолиться... эх!

– Вот, слышь, когда ругателей его, Тургенева Петьку с мещанином Федькой Калачником на казнь вели, Федька-то во всю горло орал, бесстрашной такой: «Приняли вы вместо Христа Антихриста и поклоняетесь посланному от Сатаны... Тогда опомнитесь, когда все погибните...»

– Господи, владыка живота моего, что деется-то!..

– А народ черный Федьку ругал и кричал: «Поделом тебе смерть. Слава государю нашему!»

– Но удал, ничего не скажешь да не почешешься. Когда в Коломенском медведей травили, на круг выходили самые могутные робяты – из стрельцов, из мещан... кузнецы те же... из смердов-пахарей здоровы были... Был Ивашко Бодун, кат⁴⁸. Да-к он медведя с одним ножичком взял, прямо под пазуху ему саданул, зарезал... И тут глядят: наш-то государь венчанный, шапка набекрень, кафтанишко кушаком подтянул, схватил вилы двойные со

⁴⁸ Кат – палач.

стальными перьями и на медведя... Басманов вопит: «Не пущу, Твое Величество! Царску-то жизнь опасности подвергать!» Князь Телятевский тоже глотку дерет, глупой: «Государь, не ходи на ведмедя! Поберегися для нашей пользы, куда тебе... Ты мелкой, не удержишь зверя вилами-то». А тому хоть бы што... Выбрал зверя самого лютого, огромного да брюхатого, башка в полтора локтя вдоль. А клычища, а когтищи... Ой, Господи! И встречу того страшилища с вилами наперевес... Ну, все рты порозевали, ждут-че будет... А Димитрий Иванович, как будь всю жизнь токмо энтим и занимался... Подскочил, примерился. Саданул зверю в сердце, древко укрепил и держит, напыжился, аж жилы вздулись... Тот-то поревел, лапищами на воздухах помахал да и завалился... Што тута стало! «Слава! – орут и бояре, и смерды, и охотники, и стрельцы. – Слава нашему государю! Истинный ловец! Право хороший воин!» Во как, господа думцы...

– Да знаю, – подошел третий бородач в шитой ферязи, – видал я... Сильный царь-то, хоша и ростом невелик. Там еще и свей⁴⁹ был со слободы Кукуйской... Наш, говорит, свейский король Карл тоже оченно се дело любит – медведей травить, своими руками кончать...

А Самозванец продолжал удивлять непривычных москвичей своим не царским поведением.

Нередко он в сопровождении Басманова, князя Скопина-Шуйского, князя Мстиславского, кого-нибудь из дальних своих родственников Романовых, с доверенным в международных делах Власьевым, секретарем Бучинским, другим поляком Доморацким, а иногда с немцем Маржаретом и думным дьяком Василием Щелкаловым, ставшим окольничим, разъезжал в легкой колыхаге или верхом по всевозможным государственным делам без большой охраны, а то и беззаботно сам-друг с Власьевым или Щелкаловым.

«Царь Димитрий Иванович» сам испытывал на дальних пустырях новые пушки и стрелял по мишеням весьма метко. Сам устраивал смотры стрелецким полкам либо сборным отрядам дворянским.

Приказывал сооружать земляные валы и крепости, чтобы приучать воинских людей совершать примерные приступы приближено к условиям войны. Принимал участие в таких приступах (оружие заменяли на палки) и лез в толпе на валы, несмотря на то, что его иногда сбивали с ног, давили, не глядя на царское достоинство. Однако Самозванец не обижался, понимая, что это произошло в горячке военной игры.

Многие царедворцы, привыкшие соблюдать размеренное и благолепное поведение, оскорблялись таким безудержным поведением «царя». Совсем новое, деловитое и бесцеремонное, иноземное устройство государственных предприятий у многих людей «вятших» вызывало глухое раздражение и даже негодование. А те, кто знали суть явления «сына Ивана Грозного», еле сдерживали себя, считая, видимо, это царствование кратким перерывом после уничтожения династии Годуновых.

Многие же люди воинские, а также купечество и «черный» народ – от городских низов до деревенского смерда, не зная о быте нового «царя» во дворце, очень были довольны его правлением и молились за него, занявшего трон Годунова.

Однако многие оскорблялись, обсуждая слухи о том, что «Димитрий Иванович» принял чужую еретическую веру католиков. Другие отрицали эти слухи, не верили им, видя как он молится в православных храмах, причащается, помазывается и преклоняет колени перед святыми иконами.

Впрочем, Лжедимитрию, уже сидевшему на московском престоле, нужно было сохранить благоприятные, даже дружественные отношения с папой, зорко следящим за его поведением. Ему нужно было не утратить связи с польским королем и другими католическими дворами. В своих письмах к папе, верхушке Речи Посполитой и некоторым ближним монар-

⁴⁹ Свей – швед.

хам он горячо поддерживал идею всеобщего христианского ополчения против страшного могущества турок, захвативших все земли, бывшие некогда православной Византийской империей и имеющие под своей властью Святую землю.

Наверное, он вредил себе, говоря иногда, что не видит большой разницы между христианскими исповеданиями. Он даже выражал кому-то из вельмож мнение о соединении католичества и православия. На это ему тонко заметили: главенствовать-то при таком единении будет, конечно, папа, а не патриарх русской церкви? Выслушав столь коварное замечание, «Димитрий Иванович» будто бы отнесся и к этому совершенно беспечно.

Патриарх Игнатий как-то спросил «царя» в присутствии нескольких влиятельных думских бояр, правда ли, что он, православный владыка, не против того, чтобы построили католический костёл для поляков.

– Почему бы мне этого не разрешить? – совершенно бесхитростно ответил «царь». – Они христиане и оказывают мне верные услуги. Вы ведь не возражали, когда позволили иметь свою церковь и школу еретикам. – Он имел в виду лютеранскую кирху, открытую при Борисе Годунове на Кукуе в Немецкой слободе.

Патриарх и бояре ничего не возразили «Димитрию Ивановичу». Но видно было по их лицам, что они противоположного мнения и считают намерения «царя» недопустимыми.

Между тем почтовые кареты с корреспонденциями из Рима продолжали часто отправляться в Краков к нунцию Рангони и королю Сигизмунду. А от них скакали гонцы к пану Мнишеку, к пану Вишневецкому – и ко всем другим, имеющим влияние на московского государя.

Самозванец очень оживленно отвечал на письма, прибывавшие к нему из Кракова, Сандомира и из Рима, от самого папы или от главы Иезуитского ордена. В своих письмах он охотно обсуждал различные предложения политического или религиозного толка, однако ничего определенного пока не предпринимал. Кроме одного: он желал как можно скорее обручиться, а затем и жениться на Марине Мнишек.

По-видимому, со стороны Лжедмитрия, человека молодого, пылкого и, возможно, действительно влюбленного, это было важнейшим событием, к которому он стремился.

Те дальновидные и осторожные паны, предводительствовавшие в Польском сейме, что были не так давно против поддержки «Дмитрия-господарчика» (выражение пана Замойского), после его воцарения настороженно умолкли. Стремление царя Московии жениться на дочери сандомирского воеводы их теперь устраивало. Правда, некоторые считали, что желание царя сделать царицей польскую панну-католичку связано прежде всего с его политическими замыслами так или иначе соединиться с Речью Посполитой и превратиться в могущественного императора – «от Вислы до Волги».

Мнишек торжествовал. Он прислал боярам и «всему московскому рыцарству» письмо, в котором называл себя началом и причиной возвращения царевича Дмитрия на престол предков. Мнишек обещал скоро приехать на Москву и способствовать увеличению прав боярских и дворянских, по образцу Запада.

Князя Мстиславский и Воротынский со товарищи отвечали ему вполне дружелюбно: «В грамоте своей писал ты и лично передал с посланцем своим, что ты великому государю нашему в обретении прирожденных прав его служил с великим радением и впредь служить хочешь. И мы тебя за это хвалим и благодарим».

Х

После письма Мнишека боярам «царь Димитрий Иванович» немедленно отправил посла Афанасия Власьева в Краков уговаривать Сигизмунда – дать согласие на отъезд Марины в Москву.

Секретаря Яна Бучинского понесли по русским дорогам добрые и сытые кони для переговоров с Мнишеком.

Бучинский торопил «пана отца», однако заранее сделал предупреждение от «царя», чтобы поведение жены иноверки не произвело неприятного впечатления на народ. Еще «Димитрий» настаивал на обязательном условии: выпросить у папского легата позволение Марине причаститься у обедни из рук патриарха, ибо без этого она не сможет быть коронованной. Также испрашивалось разрешение ходить в греческую церковь, втайне оставаясь католичкой. Ну и были пожелания (впрочем, очень настойчивые) не есть в среду мяса, а в субботу наоборот, чтобы мясо ела на виду у двора и слуг, и – голову свою чтобы убирала по-русски, то есть волосы прятала под сетчатую шапочку, а сверху еще вздела бы кичу. Кажется, тяжеленную – увешанную золотыми бляшками, убранный драгоценными камнями и жемчужным шитьем.

Узнав про столь затруднительные пожелания жениха, Марина Мнишек презрительно фыркала. Потом хохотала и спрашивала отца – не приготовиться ли ей пить свежую кровь по утрам и не продеть ли в нос себе кольцо, как принято у диких племен в колониях испанской Вест-Индии?

Посол Афанасий Власьев был принят королем Сигизмундом с положенной для подобного случая торжественностью. Власьев передал королю грамоту от «великого государя Димитрия Ивановича, царя и великия князя всея Руси и пр. земель». Вручен был пажам Его Величества гостиничный подарок: две сороковки (связки по сорок штук) отборных соболей. Затем Власьев просил назначить день заочного обручения государя Димитрия Ивановича с панной Мариной Мнишек.

Когда внешние стороны приема были соблюдены, Сигизмунд сошел с тронного возвышения и пригласил Власьева в соседнее помещение.

Король был очень приветлив и любезен с русским послом.

– Я весьма рад за вашего государя, – сказал Сигизмунд. – Наконец-то он обрел родительский трон. Хотя должен сказать, что до меня дошли слухи, будто Годунов жив и оказался в Англии.

– Борис умер своей смертью от удара, я видел его в гробу, – решительно заявил Власьев. – Так что простите, Ваше Величество, про Англию все брехня.

– Я уже послал в Москву своего посланника пана Гонсевского, чтобы обговорить с царем Димитрием наши совместные планы о войне с Турцией и усмирении крымских татар.

– Гонсевского я не видел. Мое главное поручение, Ваше Величество, отвезти государю панну Мнишек.

– Я знаю это, разумеется, – заулыбался король. – Однако я хотел бы предложить царю Димитрию невесту, равную его величию по знатности происхождения, нежели панна Мнишек. Например, мою собственную сестру или... она более подходит по возрасту, трансильванскую княжну Марию. Может быть, подыщем ему супругу королевской крови?

– Простите меня еще раз, Ваше Величество, от меня сие не зависит. Мой государь решил раз и навсегда сделать царицей Марину Мнишек. Так что, Ваше Величество...

– Да, да, я понимаю. Молодость, горячая кровь, любовь, страсть. Ну хорошо, обручение русского царя совершим здесь, в Кракове, у меня во дворце. Я думаю: назначим на 10 ноября... Итак, вы будете изображать жениха.

– Как вам будет удобно, Ваше Величество.

– Я уведомя Мнишек королевским приглашением. Это будет приятно для их самолюбия.

– А я сейчас к ним еду с подарками от государя.

– Чтож, добро, добро. Счастливый путь, господин посол, до встречи в день обручения.

Вечером король сидел в тайном кабинете дворца. При нем находился канцлер Лев Сапега и трое вооруженных шляхтичей в темных кунтушах. Разговор шел о разных внутренних польских делах. Потом переместился на отдельные детали символического обручения панны Мнишек и московского посла Власьева.

Вошел один из королевских шпионов, сутулый, мрачный, широколицый человек. На плечах плащ с пелериной, как у государственных стряпчих. Под плащом короткий клинок в ножнах.

– Ваше Величество, к вам с особо секретными сведениями неизвестный иностранец.

– Кто? Откуда?

– Да странно, Ваше Величество. Якобы швед, но из Москвы. По-польски говорит понятно, хотя и с искажениями.

– Обыскан? Впрочем, зачем я спрашиваю...

– Впустить, Ваше Величество?

– Н-ну... да. Кто бы это мог быть? Веди его, Йонтек.

Посланный возвратился с рослым бородатым человеком, одетым как краковский мещанин. Тот, сняв шляпу, низко поклонился. Йонтек остановил его в пяти шагах от Сигизмунда III.

– Имя? – спросил король.

– Улаф Карлсон. Для русских Еремей Куликов.

– Тайный соглядатый шведов?

– Нет, Ваше Величество. Я уроженец Немецкой слободы в Москве.

– Какие сведения?

– Я просил бы, Ваше Величество, чтобы здесь не было случайных людей.

– Здесь нет случайных людей.

– Но... дело касается царя московитов.

– Хорошо, пусть хлопцы выйдут. Останешься ты, Йонтек, и мы с паном канцлером.

Сапега усмехнулся. Король положил ногу на ногу, прищурил серые глаза.

– Слушаю.

– Я прибыл от царицы Марфы, инокини, последней жены великого государя Иоанна. Теперь она в Москве и, как мать царя Дмитрия Ивановича, живет в лучших палатах монастыря, рядом с царским дворцом. Я прислан, чтобы сообщить от ее имени: царь Дмитрий Иванович, которому Польша помогла взойти на престол, не является ее сыном. Дмитрий умер в семилетнем возрасте от несчастного случая либо от руки убийцы, посланного Годуновым. Это истинная правда. Человек, правящий Московией под именем «Дмитрий», ей неизвестен.

– Это все, что вам поручено сообщить?

– Да, Ваше Величество.

– Я учту столь ценное сообщение. Вы свободны и можете ехать в Москву. Йонтек, проводи господина Карлсона до конца парковой аллеи нашего дворца.

Когда швед и широколицый в плаще с пелериной покинули секретный кабинет Сигизмунда, Лев Сапега сказал презрительно:

– Бородатый индюк говорил торжественно, как будто он принес нам святое правозвешение.

– Не очень приятно слышать грязноватое откровение, которое уже знаешь.

– Главное, вряд ли мы разберемся, Ваше Величество, кто действительно послал московского шведа с этой давнишней сплетней. Мнимая ли мать царя Дмитрия...

– Она дурра, что ли? Непохоже.

– Может быть, заговорщики-бояре начали снова расшатывать трон...

– Как бы то ни было, Дмитрий обещал начать войну с турками и жениться на польке-католичке...

Следующим утром служители дворцового парка нашли в конце аллеи труп бородатого мужчины. Его положили на тележку и увезли.

* * *

Пан Мнишек хмуро смотрел на подарки «Дмитрия Ивановича».

Власьев передал его слуге узду великолепного аргамака с блестящей сбруей и золоченым седлом. Конь был тонконог, статен, редкой игреневого масти. Затем достали из рундука⁵⁰ роскошную соболью шубу и прочие дорогие вещи: серебряные чаши, серебряные блюда, золоченые баклаги и графины венецейского цветного стекла. Наконец, русские бархатные ферязи и шелковые кафтаны с гранеными пуговицами, сабли, кинжалы с золотой насечкой и ножами в самоцветах.

– Да, это хорошо, – сказал Мнишек недовольно. – А деньги?

– Десять тысяч золотом. – Афанасий вложил в широкую ладонь пана Мнишека тяжелобрякнувший кожаный кошель.

Однако ясновельможный тесть еще препирался с царским послом и просветлел, лишь узнав, что все это только «на дорогу».

– А основное? – спросил Мнишек и махнул с деланой беспечностью. – Ладно, обговорим в Москве.

Для Марины из посольских сум явилась резная шкатулка с драгоценностями. Девушка была поражена: таких украшений она еще никогда не видела. Также не скрывала восторга ее подруга Барбара Казановская: «Марина, ты будешь настоящей царицей!» Служанки ахали и всплескивали руками.

Невеста, примерив диадему и ожерелья, спросила даже у Власьева:

– Ну как, а? Ничего?

– Государыня, красивей я не видел никого на свете.

– Неужели?! – Маленькая полячка захлопала в ладоши. – Я буду обручаться во дворце, в присутствии короля и придворных.

Тут же примчались швеи, портные, млеющие от восхищения родственницы. Начали рыться в ворохе дорогих материй, выбирая лучшее из присланного царственным женихом.

По роскоши одежд, торжественности обряда, который совершал дворцовый капеллан Мациевский, по удивительному убранству зала, наполненного толпой придворных и благожелательно улыбающимся королем Сигизмундом, – назначенный день совсем ошеломил простоватого москвитя. «Ну и лепота, ну и пение – как в раю, аж блазнит, голова кружится... Будто сон чудный приснился, – подумал Афанасий. – Да и невеста государева така басенька, така глазастенькая и нежная – ну, право слово, ангел на небеси... Токмо волосом чернявенька и мала росточком-то, почти с ребенка...»

⁵⁰ Рундук – разновидность сундука, лавка с подъемной крышкой.

При церемонии католического обручения посол Афанасий Власьев часто отвечал на вопросы капеллана невпопад, чем вызывал смех некоторых придворных, прикрывавших лицо ладонями. Взять за руку невесту государя исполнитель роли жениха ни за что не хотел и согласился это сделать, только обмотав себе кисть платком. Даже прикоснуться к белому, расшитому жемчужинами платью Марины он не смел. Ужасно потел в своем алом посольском кафтане, рослый и пригожий Власьев не замечал, как некоторые дамы из окружения короля поглядывают на него пристально и лукаво.

Когда дошло до танцев, до торжественного прохождения «полонезом», Власьев участвовать в этом, конечно, отказался. И обрученную невесту русского царя провел по всей окружности зала какой-то щеголеватый, ловкий кавалер с кружевами на вороте и закрученными вверх усами. За столом, сидя рядом с невестой, обрученный «жених» дрожал, боясь не задеть случайно Марину, ничего не ел и не пил, как его ни упрашивали.

Зато его возмутило поведение невесты, когда Марина, благодаря короля за великолепный праздник, низко поклонилась и даже коснулась коленом пола.

Возвращаясь в одной карете с Мнишеком, Власьев раздраженно сказал:

– Делать такие поклоны обрученной невесте царя – значит оскорбить достоинство моего государя. Панна Марина должна была сообразить...

– Ну что вы шумите, друг мой, это же король, – насмешливо ответил невоспитанному и туповатому москвиту Мнишек. – Он ведь и дал разрешение на брак. Так что не сердитесь, побойтесь Бога.

– Ах вот как, мне бояться Бога... – взъерепенился уязвленный посол. И Власьев рассказал ясновельможному пану, что король еще до обручения предлагал подыскать для царя Дмитрия Ивановича невесту более знатного происхождения... например, свою сестру. Или еще кого-то.

Настроение у пана Мнишека явно ухудшилось. «Шведско-трансильванская крыса», – пробормотал с досадой сандомирский воевода, имея в виду его королевское величество.

– Что? – не понял Власьев, все еще взволнованный происшедшим.

– Да это я так просто, ничего особенного. – Мнишек расправил пышные усы и нахлобучил покрепче шапку с пучком крашенных перьев. – В Москву! Скачим бардзо до Москвы, пан посол!

«Вообще неприятностей множество, даже с излишком, – вздыхал тесть русского царя. – Например, нунций Рангони встал на дыбы, не разрешая Марине причаститься у православного патриарха. Пришлось писать в Рим, к самому папе Григорию XV, объясняя (уже в который раз!), что иначе свадьба не состоится.

Папа, только что занявший священный престол, подумав, разрешил, как исключение и в виду будущего распространения католичества на Руси. Кроме того, секретарь царя Ян Бучинский передал тайно, чтобы Мнишек наберевал побольше жолнеров и привел их в Москву.

Царь чего-то тревожится: говорит, в Кремле три тысячи стрельцов, но он им не доверяет. Они полностью под влиянием бояр и, в случае беспорядков, могут его послушаться. Им не сумеют противостоять сотня гусаров Доморацкого и немецкая рота Маржерета. Правда, деньги для найма добровольцев Бучинский привез. Да и мне, кажется, удастся расплатиться с моими долгами. Царь, видно, чувствует себя как на углях. А я везу ему дочь. Но что делать, такова жизнь!»

Мысли ясновельможного пана Юрия Мнишека были тревожны. Сколько он ни тянул время, однако русские деньги получены и долги почти полностью отданы. Надо продолжать начатое дело. Он представил Москве царя, а дальше... Дальше нужно ставить Марину царицей и надеяться на лучшее.

XI

Летела щепа под топорами, визжали пилы, дробно толкли долотами. Подвозили на Ивановскую площадь к самому дворцу отборные, высушенные, заимствованные из монастырских складов бревна. Самые наторелые, искусные мастера по плотницкому делу с раннего утра строили деревянный, будто игрушечный, дворец рядом со старыми каменными палатами. Деревянный дворец был всего на четыре комнаты – зато весь резной и высокий: из верхних комнат всю Москву видно.

Димитрию пришло письмо от пана Мнишека, в котором, между прочим, было написано: «...Поелику известная царевна, Борисова дочь, близко Вас находится, государь, благоволите, вняв совету благоразумных людей, от себя ее отдалить...»

– Вот доносчики подлые, поганые свиньи... Сообщили-таки ясновельможному про Ксению, – злился Самозванец в кругу близких людей. Он показал письмо Басманову, Ивану Безобразову, князю Мосальскому и секретарю Яну Бучинскому. – Что решить, господа? Куда упрятать Ксюшу?

– Ясновельможные паны, и тот же Мнишек, прикидываются, будто в молодости они были ангелами с крылышками. А кроме невест и жен, не имели других женщин, – сердито произнес Мосальский.

– Марина, прослышав о Ксении, изошла в ревности, – заметил Бучинский. – Она теперь страстно желает быть царицей и не потерпит соперницу.

– А тебе-то, Димитрий Иванович, годуновская дочка не надоела ли? – усмехнулся Басманов.

– Да нет, я бы ее не отпустил. Однако, еще не обвенчавшись, свару в доме затевать... Надобно от полюбовницы избавляться.

– Вот эдак, что ли? – спросил Безобразов, проведя большим пальцем себе по горлу.

– Ну что ты, Иван... Что за дикое свирепство... – поморщился «царь». – Ксюшу пострижем в монахини. Никуда ей не деться, иначе слуги Мнишека ее сразу найдут.

– В Новодевичий? – уточнил Басманов.

– Надо бы куда подальше.

Решили услать Ксению Годунову в далекий северный монастырь. Несмотря на рыдания и мольбы бывшей царевны, ее ночью увезли в Белозерск и постригли в монахини под именем Ольги.

Шла тем временем оживленная переписка между некоторыми боярами и теми панами польского сейма, которые с самого начала были против помощи неизвестно откуда возникшему и очень подозрительному сыну Ивана Грозного. Водители сейма даже роптали втихомолку по поводу Сигизмунда, слишком благожелательно отнесшемуся к Самозванцу. Отказавши «Димитрию» в помощи, можно было бы много чего выторговать у Годунова. А теперь вместо благодарности от «Димитрия» одни только досады.

Этот «господарчик», этот «беглый холоп» (как называли его особенно возмущенные поляки) требует себе такого титула, которого не имеет ни один христианский государь. Он хочет называться не царем, а цезарем, то есть, по сути дела, – императором, утверждая, что имеет на это права большие, чем у древних римлян. За это, говорили они, Бог лишит Димитрия престола, да и вообще опозорит его перед всем светом и приведет к мрачному концу.

Сам «Димитрий Иванович» вел себя в это время слишком неосторожно, заносчиво, даже небрежно, упоенный близкой встречей с Мариной.

Когда надо было послать человека с благодарственными грамотами к королю, сейму и Мнишеку, Шуйские и Голицыны хитро обратили его внимание на Ивана Безобразова, кото-

рому он безоговорочно доверял. Безобразова направили в Краков с письмами от «Дмитрия» и с тайными поручениями от бояр.

Ванька Безобразов, всегда так правильно и преданно ведший себя под боком «царя», теперь почувствовал чутким своим носом приближавшуюся угрозу со стороны настоящих хозяев Москвы, потерпевших временное поражение, но теперь объединявшихся для наступления на власть «расстриги», для неожиданного победного удара. Возвратившийся из Москвы королевский посланник Гонсевский пригласил к себе для скрытной беседы полномочного представителя боярства.

В сумерки Безобразова доставили в богатый дом пана Гонсевского. Старый слуга с крашенными в ярко-рыжий колер вислыми усами, достигавшими живота, в кафтане со шнурами и кисточками проводил москвитя к хозяину. Пан Гонсевский, вполне располагавший сведениями о состоянии дел у легковесно господствовавшего «Дмитрия» и тайно противостоявшим ему «Рюриковичам», «Гидеминовичам» и их присным, сел в кресло и предложил боязливо поглядывавшему, неприятному лицом секретному гонцу передать ему поручения от бояр.

Безобразов к этому сроку изменился. Он не походил теперь на ослепленного удачей царского слугу, вовремя прикинувшегося забывчивым глупцом. Постепенно он разгадал готовящуюся смену власти и удивлялся на благодушествующее лукавство «Дмитрия Ивановича» (Юшки пупырчатого, как он его называл про себя) в тот день, когда тот помиловал князя Шуйского, отменив казнь злейшему своему врагу. Шуйский-то его, дурака, никогда не помилует, уж такое даже во сне присниться не может. И Безобразов предал товарища детских и отроческих лет, готовился теперь насладиться его гибелью, утолить свою ненависть и зависть. Впрочем, осторожность его не покидала.

– Итак, что приказали передать? – Пан Гонсевский поднял брови, будто заранее удивляясь тому, что ему придется выслушать от неприятного чернявого мужика.

– Ясновельможный пан, – начал заученно Иван Безобразов и даже глаза закатил под лоб, словно припоминая порученное ему каждое слово, – светлейшие князья русские: Шуйский Василий Иванович, Рюрикович, думный боярин и также Голицын Василий Васильевич, Гедиминович, думный боярин, со товарищи – князьями русскими и думскими боярами жалобу приносят благородному сейму Речи Посполитой на действия Его Величества, короля польского Жигимонда. А жалоба сия такова есть: зачем Его Величество зело поддерживал и навязал с помощью воинских своих людей в цари на престол московский человека низкого как в помышлениях своих, так и в происхождении своем. Ибо сей легкомысленный и распутный тиран, подобный древним тиранам языческим, есть подлый и лживый Самозванец, монах-расстрига, а не сын царя Иоанна IV и ни в каком своем существе престола царского недостоин.

– Подобные сведения, которые я услышал, от вас, господин посланец, – заговорил пан Гонсевский, изменив выражение удивления на мину сожаления и даже некоторой печали, – мне, панам сейма и королю уже приходилось получать из Москвы как от вполне ответственных и благонамеренных, так и от случайных лиц. Опрометчиво и скороспело отвечать на сии сведения, а тем более предпринимать некие решительные шаги – как следствие столь разоблачающих сведений – пока в разумении Его Величества короля Сигизмунда, а также членов сейма не представляется возможным. Ведь, если память не изменяет нам с вами, господин посланец, бояре уже присылали письмо на имя нашего короля, где они в противоречие нынешним своим словам хвалили и благодарили Его Величество за помощь, оказанную сыну царя Иоанна Дмитрию в обретении им отеческого трона. Что-нибудь еще приказано донести до сведения сейма?

– Да, ясновельможный пан, – несколько заторопившись, продолжил Безобразов, – мне указано передать о намерении думских бояр сверзить со престола беглого расстригу Гришку Отрепьева и возвести на трон сына короля Жигимонта, королевича Владислава.

Гонсевский на другой день сообщил Сигизмунду о предложении Боярской думы. Король, поразмыслив, велел отвечать боярам, что он очень жалеет, обманувшись насчет Дмитрия, и не хочет мешать им помышлять о самих себе в захвате власти. Что же касается до его сына Владислава, то он, король, не страдая увлечениями честолюбия, хочет и сыну своему внушить такую же умеренность, предоставляя тронные дела воле Божией.

А русский царь тем временем, рассылая обещания о всяческом благоприствании в будущих свершениях по распространению латинства в Москве, думал только о скорейшей свадьбе с Мариной.

Под звоны всех московских колоколов Марина Мнишек с подругой Барбарой Казановской и стайкой молодых шляхтянок торжественно въехала в стольный град. Русские мизинные⁵¹ люди толпились вдоль пути, с простодушной наивностью восхищаясь красотой невесты.

– Ох, до чего ж миленька, личико кабудь котенок облизал, – умилялась толстая румяная разносчица баранок. – Ох, басенька, чернявенька, ангелок писаный...

– Уж и глазенки прямь свечками светятся, таковы ясны, а роток красенький – одно слово розочка полевая цветет, – подхватила соседняя баба с восторгом и подняла девочку лет двух в платочке. – Глянь на невестушку цареву, Дуняшка-голубонька. Глянь да ладеньку-красотеньку у ей перейми... Вырастешь, сама така стань... Чтоб от жанихов-то отбоя не было, чтоб князья-бояре просили-кланялися... Ох, уж така холена да пригожа – что и словес не хватат.

– Да хороша-то прихорошенька, а больно маненька, ручонки беленьки да хиленьки... Белорыбицей не плывет, не ласкат погляденье... – сомневался мужик в войлочной шапке грибом, в малиновой новой рубаше с сизою подпояской. Плечистый, грудастый, спинаща в неохват.

– Те, детинушка, таку былиночку-липеньку не с руки и глазом мерить... – засмеялся на его замечание старик в надорванном зипунке, борода редкая, а глаз лукав чрезмеру. – Те надо девку кабудь репу ядрену. Гуль якши ясак, как татарове бают, те бы сытушку медовую, не немецку романею⁵²...

– Толково, дед, баешь, – ослабив крепкие зубы, присоединился к старику с редкой бородкой здоровяк. – Я, дед, москвитянин сытой, мне невесту с Кутафью башню⁵³ надоть, ей-ей...

– Ха-ха-ха, бесстыдник-ялдырник, – рассмеялась на помаженным ртом до ушей разносчица-бараночница.

– Махни, махни рученькой, Дунюшка, царевой невестушке, а может, ответит, – уговаривала дочку баба в вылинявшем платке поверх бедного кокошника.

– А товарка-то невесты посмачнее будет... Больша, румяна, бровь соболя...

Марина Мнишек сидела прямо и гордо, с красиво окаменевшим лицом под жемчужным венцом с белой лентой. Толпы радушно встречавших ее варваров-москвитов были для будущей царицы пустым местом. Однако сопровождавшие ее в карете миловидные полечки-шляхтянки искренне радовались веселым кликам в людских потоках этого пестрого, шумного весеннего города.

⁵¹ Мизинные люди – простонародье.

⁵² Романея – виноградное вино, французское или итальянское.

⁵³ Кутафья башня – выносная, соединенная с Кремлем мостом через Неглинку.

А за день до того «царь», предупрежденный Мнишеком, который уже расселил по частным домам своих жолнеров и шляхтичей, приказал поставить большой царский шатер перед Москвой. Туда доставили царскую карету, внутри обитую алым бархатом, с золотыми накладками и посеребренными спицами. Бояре, богатые купцы явились с подарками к шатру царской невесты.

На всем пути, во всех городах и городках Марину встречали колокольным звоном, священники с причтом выходили навстречу, народ радостно бежал сзади за «царицей», выражая восторг. Но она нигде не выходила из кареты, никому не отвечала на приветствия, не обращала внимания на духовенство.

И вот теперь, уже покинув шатер и сидя в сверкающей золотом карете, она ехала к центру, к Кремлю, где будущий муж «Димитрий Иванович» ждал ее въезда.

Он находился в столовой избе, где угощал Мнишека, сына его Станислава и командиров польских гусар. «Виват!» – кричали мужчины, чокаясь серебряными чашами.

А Марина уже подъезжала к Кремлю. Спереди и сзади ее кареты ехали более скромные экипажи с родственниками Мнишеков, панами и паненками. Гарцевали на прекрасных конях гусары с гусяными крыльями, прикрепленными на легких кавалерийских латах к плечам, в золоченых касках с белыми перьями, с красными накидками, выющимися за спиной. Гусары подмигивали румяным москвитянкам в камчатых распашниках⁵⁴.

Загрохотали пушки, окутавшись дымом. Быстрее затрезвонили колокола кремлевских монастырей. Блестящий поезд невесты стрельцы отделили от любопытной, радостной толпы. Карета Марины вкатилась во Фроловские ворота. Маленькая девушка с жемчугом и белой шелковой лентой в черных волосах, морщась, нюхала французский флакончик от головной боли.

Когда невеста царя вышла из кареты, ее встретил дьяк Афанасий Власьев, тот, что в Кракове обручался с ней, замещая «Димитрия Ивановича». Он повел Марину к царице-инокине Марфе, «матери царя». Инокиня расцеловала избранницу «сына» и оставила ее в своих палатах вместе с Казановской, подружками и служанками.

В столовой избе опрокинули уже не одну чару крепкого венгерского.

– Ну, как устроилась Марина у матери? – спросил сильно возбужденный «царь».

– Да хорошо, государь, – отвечал Власьев. – Царица ее поцеловала, разместила Марину и подруг в палатах. Все ладно, только скучно ей будет в монастыре.

– Пускай музыканты из роты Доморацкого играют около монастыря что-нибудь веселое.

– Как так? – опешил Власьев. – Но это же монастырь! Разве можно тешить беса в обители?

– Может быть, не надо, Ваше Величество? – вежливо вмешался Станислав. – Все-таки монастырь... Обидятся монахини...

– А я приказываю играть! – стукнул кулаком по столу захмелевший Лжедимитрий. – Я властелин в этой стране, каждое мое веление закон. Играть! Да погромче – чтоб во всем Кремле и на Красной площади слышали...

И никто теперь не поверил бы, что гордая Марина готова была вернуть обручальное кольцо и отказать жениху. А в то же время ясновельможный пан Мнишек до неприличия скабрезно и грубо торговался с Рангони. Даже писал в Рим папе Григорию жалобы на упрямство нунция.

Но если бы и Мнишек, и Марина знали о том, какие передраги пришлось совсем недавно перенести царственному жениху, они вряд ли чувствовали бы себя настолько уверенно.

⁵⁴ Распашница – женская легкая одежда с широкими рукавами и украшениями.

XII

Протекавшая у Кремля Неглинка и впадавшая близ Боровицкой башни в Москву-реку, несла из-за слобод небыстрые и не особо чистые воды. На речную поверхность бросали тень старые ивы, меж ними плескали колесом две мельницы, какие-то еще виднелись бревенчатые строения под лохматой соломой, да были мостки с портомоем: тут бабы с утра колотят вальками по полотняным рубахам.

Поили тут же поблизости коров хозяева недалних изб, и стоял в летний день мальчонка с удочкой из орешины. Гуси ходили важно по берегу, стаям плавали иногда.

Чуть в стороне от Лубянки, где торговали готовым к постройке лесом, там и сям теснились харчевни, шалаши обжорные, питейные царевы кружала... Частные запрещались... Но подтихую существовали... И не с пропившимися питухами, рванью дерюжной, а с загулявшими гостями⁵⁵ в добротных кафтанах смеялись опрятные слобожанки с бирюзовым или обливным голубым колечком во рту⁵⁶. На таких проходившие мимо мужние жены кидали хмурые взгляды, злились. Эти были и впрямь покраше простых срамных девок; однако тоже зазывали – кого в кружало, кого в притон дым пить из коровьих рогов⁵⁷, кого даже в баню...

Вот и стояла одна из таких бань на Неглинке, выстроенная купцами Веригиными при благом поощрении князя Милославского, начальника Большого приказа. Баня с двумя отделениями – мужским и женским, а предбанник с мутным фонарем один, общий.

У входа целовальник с заклепанным железным ящиком, в нем прорезы для сбора денег – с кого копейка, с кого пол-алтына. Рядом сторож с бердышом и саблей.

Пития хмельного в бане не разрешалось, чтобы не случилось похабства и озорства. Однако смотреть приходили многие: гыкали при виде голой толстомясой бабы, что возникала из клубов пара с веником перед животом между ляжек и, прикрывая груди, лезла, мокрая, в чистую рубаху до пят. Иной начинал на расстоянии охальничать, подъелдыривать, но трогать рукою – не мог.

Бабы, те что помоложе, отругивались беззлобно. Некоторые молча одевались или облачались, однако бывало что и посмеивались. К таким, с разрешения сторожа, можно подойти, уговориться человечно на скорое время или на потом. Сторожу грош с каждого уговора.

Однажды к востряку, что сперва мылся-парился, потом со смешливой бабой ненадолго уходил, снова возвратился, разделся: копейки в кисете были... так вот к нему подошел и, разувшись, заговорил жилистый мужик с седовой бородой. На правом предплечье рубцы от сабельного удара, на плече тоже. Бок искорежен шрамом. Видно, человек воинский, боец.

Тут третий, молодой, после мытья принес большую баклагу кваса, всех угостил. Сторожа этих двоих, сам испил из деревянной чашки. Целовальник только не стал: ему не полагалось у чужих пить. Могли порошка сонного подсыпать, ящик унести.

Пили квас. Разговор зашел к полякам, прибывшим в Москву с новым царем и охранявшим будто бы государя. Расположились они в Посольском приказе. Главным там у них значился Вишневецкий князь, командовал отдельной ротой пан Доморацкий.

Поляки бродили по Москве, как по городу, взятому с бою. На жителей поплевывали с презрением, чуть что – хватались за рукоять сабли, грозились. Женщин встречающих, если нравилась, не пропускали свободно, изгалялись, лапали. Был случай изнасилования, но потолковали, позлились – замаяли.

⁵⁵ Гости – купцы, богатые торговцы.

⁵⁶ Замужние женщины, желавшие «погулять», или лиходелницы, как их называли в народе, держали в зубах колечко.

⁵⁷ Способ курения табака, наподобие кальяна.

А один польский кавалерист, дурной, пропившийся, до того обнаглел, что у купчихи на торгу калиту⁵⁸ с деньгами срезал. Тот вовремя спохватился. «Караул! – кричит. – Граблуть, православные!» – это рассказывал седоватый со шрамами. Двое других слушали.

«Ну, тут все, как положено: стрелец охранный, два пристава поляка схватили: “Ух, ты, тать⁵⁹ поганая! Ишь разгулялся!” – связали его и к позорному столбу. Кат на Торгу батоги взял. “Сколько?” – спрашивает. “За такое дело полсотни батоги”. Кат с удовольствием стал отсчитывать, да со всего плеча.

Поляк взвыл, ревет на весь торг, русские посмеиваются. Да поблизости оказались его сотоварищи. Примчались, лают: “Русские собаки! Как посмели бить лыцаря?” Пристав объяснил: “Никакой он не лыцарь. Тать паскудная, калиту с деньгами украл”. Какой-то гусар ему отвечает: “Это пустяк. А калита с деньгами есть законная наша добыча...” И кулаком пристава в рыло. Тот сперва ошалел, а потом взвился: “Ах, сукины сыны! Меня, пристава, поставленного государевым дьяком, бить на Торгу?” – и стрельцу: “Взять его!” Стрелец было за саблю. И поляк за саблю. Другие тоже сабли повытягивали: “А ну пошли прочь! Пся крэвь!” Тут в толпе крикнули: “Бей их, православные!” Оглобли, палки, вилы схватили. Началась потасовка. Сабли у наглых гуляк повышибали из рук. Стали лупить палками, кулаками месить.

Поляки вызвали подмогу. От посольского приказа прибыла рота кавалеристов под командой ротмистра. Начали пиками, саблями, плетью разгонять толпу. Да не тут-то было. По улицам к Торгу сбежалось чуть ли не пол-Москвы. Походя, выворачивали колья из плетней – главное оружие: и пика, и дубина. Разгоралось уже сражение, пролилась кровь. Ударил набат. Послышался нарастающий от возмущения рев толпы.

Наконец стало слышно и в Кремле, в царском дворце. Прибежали стрелецкие головы. Пали на колени перед “государем” и его ближними: “С чернью ничего поделать не можем! Всех ляхов перебьют!” “Встаньте, – Дмитрий Иванович говорит, – хватит валяться”».

Стали наверху думать: как быть? Ну и вроде бы молодой мечник царев Михаила Скопин-Шуйский сказал царю:

– Государь, напиши указ о наказании виновных поляков. А при сопротивлении их сородичей ударим, мол, по Посольскому приказу из пушек. И пусть бирючи с Лобного места указ твой крикнут.

– Да ты что, Миша, – Дмитрий Иванович кручинится, – как я могу поляков наказать, когда они главная моя охрана. И с панями, с королем договор у меня заключен. Да свадьба скоро с Мариной Мнишек.

– Да ты только для виду, государь, – смеется Скопин-Шуйский. – Проведем зачинщиков в цепях до тюрьмы. А ночью потихоньку выпустим. И пусть катятся из Москвы в Польшу кроме роты Доморацкого. А то черный люд рассвирепел, разозлился, как бы бунта настоящего не случилось. – Ну, делать нечего, – отвечает Дмитрий Иванович, – вот ты сам, Михаила Васильич, поезжай в Посольский да с князем Вишневецким все и обговори.

«Скопин взял конных стрельцов, поехал да с польским начальством обо всем условился. Того “татя”, что калиту срезал, и прочих зачинщиков драки на виду у всех отвели в тюрьму, а бирючи на Красной площади проорали царский указ: “В случае-де сопротивления ударить по польским отрядам из пушек”».

Народ московский доволен, царя славят: “Ах, какой у нас царь-то теперь справедливый, честный! Все по правде рассудил и русских зря не обидел, и ляхов наказал”. Ну вот, ровно бы и тишина настала.

⁵⁸ Калита – мешок кожаный, сумка для денег.

⁵⁹ Тать – вор, грабитель.

Однако седмица прошла, и понемногу начали москвитяне узнавать: как всамоделешне-то сделали. А народ православный обманули. Тут многие закручинились: вот тебе и добрый царь, справедливый, хороший. А никак не осмелился против друзей своих, поляков, пойти. У них бы с русскими другой разговор был. Понастроили бы глаголиц⁶⁰, да всех нас перевешали».

Про это седобородый человек с боевыми шрамами говорил, уже помывшись и с молодыми на улицу выйдя.

Зашли путем в харчевенку. Присели в уголке и опять за разговор. Заказали пенной (водочки, значит), пирогов, студня. Стали ужинать. А старший-то молодым разное рассказывает – да не шибко, а потихохоньку, ладонью-то прикрыв рот. Те, конечно, понимают – в чем дело. Нет, нет, а незаметно кругом поглядывают. Видят, что попался человек удалой, а они – тоже ниче, сгодятся.

Там питухи-пьянь перепившаяся – галдят, матерятся, свару меж себя затевают. Тут под пивное угощение скоморохи кривляются, припевая:

Сани поповы! Девки отцовы!
Оглобли дьяконовы,
Хомут не свой...
Погоняй, не стой!

Монах какой-то здоровенный, опившийся, взревел через головы буйным хмельным басом:

– Люди хрещенные и нехристи! Телесо наше трепыханием своим сердце человеческое указывает, цело ли тело наше праведное. А цело телесо, то жива и душа, алчущая пити, чтобы здоровой быти! Вон оно как!

Кто-то сказал:

– Сей монах беглый Варлаам аки пророк возглаголит и к чему-то дух людской призывает. А к чему? К зловещанию и властям неповиновению, ибо будто знает и скрывает некую тайну великую, ему известную.

– Ну что за тайну ты знаешь, отче расстриженный? – спросил сутулый человечешко подъяческого вида: кафтан замаранный долгий да бороденка драная клином. – Небось крамолу скрываешь во чреве пьяном своем? А ты скажи – не бойсь. Дыбы, пытки огненной не бойсь!

– У меня темя лысое, да не глупое, – заявил Варлаам, – тебе не выдаст знакомое, видок ты поганый!

– А, бойсьи? Беглый ты пророче! А то – возглаголь, я мигом с тебя запишу да куда надо донесу, – изгалялся подъячий-пропойца.

Сильно хмельной монах заорал на подъячего:

– Стерво ты, прохиндей, а не человек грамотный!.. Уйди с глаз моих, пока я тя палицей своей и десницей⁶¹ мощною не порешил!

Тот не испугался и завопил тонко, верезгом сиплым:

– Бес ты в монашьей шкуре! Не ведаю, что ль? Вор ты затаенный, сокрытый... И мало чаво удумаешь!

Седобородый, жилистый, что из бани, разговаривал с молодыми, но прислушивался чутко к крикам и байкам.

⁶⁰ Глаголица – одиночная виселица в виде буквы «Г».

⁶¹ Десница – правая рука.

Двое неприметных, потрезвее, видимо, бывалые люди, говорили про себя, но тот со шрамами их слышал:

– Да семерых стрельцов захватили в Кремле, ибо толк был у них про самого царя. Лжа, мол, будто он сын Ивана Васильевича. И пока только правит, а потом поляков на Русь пустит – грабить да насаждать латинство.

– Тише ты, краем уха пымают, тады берегись...

– Ништо, тут все пьяны. И как дальше?

– Да выдал их кто-то. И всем полуполком пришли стрельцы ко дворцу самого царя... Семерых стрельцов привели из басмановского застенка. Вышел царь-то и молвит им: «Я суду ваших товарищей отдавать не стану. Бог им судья, а поступайте с ними сами, как сочтете праведным. Что решите, то и будет». Повернулся и вместих с Басмановым ушел во дворец. А дворянин думный Микулин Григорий верным стрельцам знак дал. Тут голова стрелецкий взметелся: «Раз такое про государя баили, в сабли их...»

– Ну?

– Што «ну»-то? Всех семерых на куски порубили...

– Посередь Кремля?

– Еле кровь замыли да мясо в Москву-реку покидали... А народ, узнав, доволен был. Царские, мол, изменники.

– Времена вновь настанут кровавые. Надо, не дожидаясь, в Кремле ночью пошарить. Пока там с охраной переполох.

– После той ночки стрельцы сумные⁶² стали, по сторонам от дворца стоят. И не видать. Пусто нынче в Кремле! В царских палатах и то почти никто караул не держит. Сказывают, поживиться можно. Сам-то Митрей вроде с постельничим Ванькой Безобразовым. Да еще ночует сиклитарь еный из ляхов по прозвищу Ян.

Трое, которые пришли в харчевню из бани, отдали деньги целовальнику за хмельное, стряпухе за еду. Вышли. Прошагали недолгое время. Старший спросил:

– Слыхали про все?

– Слыхали, – тихо произнес тот, что в бане угощал квасом.

– Ты как думаешь? Нож в сапоге есть? Али мы не казачьи головы?

– Нынче никого не проверяют, такой срок настал. Потом перекроют. А то Фроловские ворота всю ночь открыты. И только немцы-рейтары бродят лениво туда-сюда. Что же, пошли?

– Один раз живем, другого не будет. Айда.

Темень в Кремле. В одном месте только, у немцев, у рейтар, факел еле тлеет, дымит.

А во дворце, в спальне царской, свечи в шандалах догорели. «Царь» замедленным языком беседует о чем-то со спальничим Безобразовым. Где-то в Замоскворечье горланят вторые петухи. Тишина крадется по переходам и горницам. Сон нисходит; в окошке, в темном небе, плывут синие облака.

И внезапно – в передней части дворца, у входа, шум.

Лжедимитрий вскочил, схватил меч на лавке у стены.

– Что там? Пистолеты мои где?

– Не помню, царь-батюшка, – сдавленно бормочет Безобразов. – Прости, Христа ради...

Чутко вслушиваясь, Самозванец кинулся к двери босой. Слышен гулкий топот ног и голос его ближнего человека Дурова: «Стойте, суки!» – и мат.

Самозванец, обнажив меч, рванулся в переднюю. К нему подскочил Дуров, стрелецкий голова:

⁶² Сумные – печальные, задумчивые.

– Государь, какие-то кralись.

– Их схватили?

– Взяли, государь. Ах, гады, с ножами...

– Что-о-о?!

Тут же Безобразов с пылающим большим шандалом, с теплым царским халатом:

– Оденсья, батюшка, застудишься. Вот сапоги теплые...

– Пошел ты... Кто послал? На государя, с ножами!

Прибежал второй стрелецкий голова Брянцев. За ним стрельцы тащили троих окровавленных с закрученными за спиною руками. Лжедмитрия трясло – от страха, от гнева?

– Все трое с ножами? – переспросил он в бешенстве. – Федор, на двор мерзавцев, в сабли их! Нещадно! – Хотел даже вытащить из ножен свой меч. Опомнился. Плюнул и вернулся в спальню. Было не до сна. Утро уже. Полз серый, без теней, свет.

Когда приехал Петр Басманов, слышен был его дикий от злобы крик:

– Зачем порубили? На дыбу надо, ко мне! Они бы мне всех выдали! Э-эх, стрелецкие головы, бараны!

– Прости уж, Петр Федорович, я виноват, – кусая губы, раскаянно проговорил «царь». – Не мог гнев удержать.

– Да, государь, поторопился, – смело выговаривал ему Басманов. – Через два дня заговор бы раскрыли.

И вот в этот-то миг стукнуло в голову Безобразову: когда следующий раз придут за Юшкой Отрепьевым, первого на тот свет отправят его постельничего.

И опять простой народ был доволен: «Покусились на царя-батюшку, на нашего Митрия Ивановича... Так им и надо. Поделом».

А в княжеских домах тайно собирались все те же: Голицыны, Шуйские, Татищевы. Но со страхом: Басманова боялись. Тот, как у Ивана Грозного Малюта Скуратов, у Лжедмитрия главным разыскателем и пытошником стал. Чуть что узнает о ком: на дыбу. Собирались князя больше у Татеева, у купцов Мыльниковых.

Все это предшествовало роскошной свадьбе с Мариной Мнишек.

XIII

Подталкиваемый своим будущим тестем Мнишеком, «царь» настаивал сперва венчать Марину в царицы. После того, как приказано было отправить игумнам по далеким монастырям митрополитов Гермогена и Иоасафа, не соглашавшихся с этим требованием «царя». Священники кремлевских соборов только вздыхали. Бояре шептались: «Все с ног на голову ставит, во кощунство-то...»

Когда оговаривали венчание, «царь» многие из православных обрядов убрал.

– Все эти суеверия выкинуть, оставить только общехристианское. Сваху-чесальщицу, надевание кики, разрезание пирога и сыра – побоку. Мы сразу вместе с Мариной явимся в столовую избу, потом в Грановитую палату и в Успенский собор – венчаться.

– Правильно, государь, – вполголоса поддержал его решение Басманов, – а то Марина Юрьевна по католическим правилам бог знает что натворит. А так – ты, государь, рядом – подскажешь, как ей надо поступать.

При входе в Успенский собор «царь» напомнил Марине, чтобы крестилась не всей ладонью, а двоеперстием. И – не налево, а направо.

– Хорошо, я все сделаю, как ты приказываешь, – с кривой усмешечкой пообещала Марина.

Польские паны и шляхтичи, сопровождавшие панну Мнишек, входя в собор, крестились всей ладонью, хотя прекрасно знали, что православные крестятся двоеперстно. Внутри храма они стояли отдельными группками, с интересом поглядывая по сторонам. Более умно и сдержанно, подражая своей госпоже и подруге, вели себя полячки. Они все делали, чтобы не вызывать раздражения у русских.

Патриарх Игнатий, предупрежденный Лжедмитрием, начал с крещения. Марина закапризничала, не желая запивать просфору вином по-греческому обряду. Но «царь» приказал удалить из храма смущавших ее поляков и довольно сердито цыкнул на возлюбленную. Она, испугавшись, подчинилась.

Затем началось венчание. Хор загремел «Многая лета». Патриарх поднес чашу с вином, к которой жених и невеста (теперь уже муж и жена) прикладывались поочередно. А в конце «царь» бросил чашу на пол и принялся топтать хрупкий хрусталь, приговаривая: «Пусть будут также растоптаны те, кто посмеет затевать между нами смуту и раздор!»

Бояре только рты разинули: чтобы в храме такое...

Тут все гости, толкаясь, бросились поздравлять молодых – «царя» и царицу». Пан Мнишек пролил отцовские слезы счастья, соображая, что такого торжества и такого будущего в своей и Мариной судьбе не мог видеть даже во сне.

Свадебный пир начался в тот же день. Столы ломились от яств, приготовленных и оглашенных при внесении придворными кухарями:

«Стерляди паровые, белорыбицы печеные, лещи на пару и уха со стерлядями, с перцами пряными, листьями лавровыми и травами заморскими... Щуки на пару в сладком отваре с шафраном, корицей и оливами черными... Судаки и язи паровые со сметаной по-польски... Белуга копченая свежая и осетры свежие же... И сомы большие соленые... Далее на блюдах лебеди под крылы, журавли под шафранным взваром, ряби под лимоны, кури разниманы по костям под огурцы, тетерева окрашиваны под сливы... Ути окрашиваны под огурцы... Косяк буженины... Лоб свиной в грецкой разварной каше... Лоб свиной под чесноком... Гуси, утки, пороса жареные...»

У некоторых гостей, особенно польских панов и шляхтичей, от такого изобилия и многообразия вырывались невольные вскрики изумления и какого-то дурашливого хохота.

А русские дворцовые кухари продолжали вносить и возглашать: «Кури индейские под шафранным взваром... Блюдо из ветчины, почки бараньи большие, жаркие... Середка ветчины и часть реберная говядины целой жаркой... Гусь, утка под гвоздишным взваром, ножка баранья в обертках...»

И когда казалось, что эти груды изысканных, искусно приготовленных кушаний подходят к завершению своего бесконечного благоухавшего пряностями потопа, как вновь закричали: «Несут, несут... Куря рафленное, куря бескостное, куря рожновое, гусь со пшеном да ягоды под взваром, куря в ухе гвоздишной, куря в ухе шафранной, куря в лапше, куря во штахх богатых, куря в ухе с сумачом...»

И, конечно, баклаги золоченые, кувшины серебряные, ведра серебряные, фляги стеклянные венецейские, ведра из стекла же – толстого синего непрозрачного, кади белые с ковшами серебряными, медными... «Кубки, чаши, утицы расписные, бокалы хрустальные... А в них мед с гвоздикой и другой мед в десяти ведрах, да двадцать ведр цыжоного... Вино боярское с особым зельем, романея фряжская, рейнское вино светлое, меды малиновые, меды сытные, меды смородинные... Вино тройное по крепости, вино двойное по крепости, пять бочонков малмазеи, да меду вишневого ведро, да в бочках – четыре ведра вина боярского с зельи, пять ведр вина с махом⁶³, пять ведр меду патошного легкого, да пять ведр пива имбирного...» И подарок к свадьбе дочери от ясновельможного пана Юрия Мнишека – тридцать бочонков крепкого венгерского вина... «Да пива доброго сорок ведр... Да ко всему тому – сто тридцать три хлеба ситных... Еще три блюда оладий с патокой, три блюда пирогов пряженных с горохом... Три блюда со пшеном сарачинским да с вязигою... Три блюда карасей больших со свежю рыбою, со сметаной... Да пряженины, да блинов, да калачей крупитчатых...»

Но особенно странно и унизительно до бесстыдства было видеть русским боярам, что невеста после венчания снова переделалась в польское платье, сбросила кикку и вольно отпущенные, черные шелковистые волосы повязала белой лентой.

Бояре только глаза пучили, глядя, как жених с невестой начали пить и есть, не скромнее, чем все веселое прожорливое застолье.

– Ну, царица простоволосая... – бурчали оскорбленно православные старики. – Это уж ни в какие ворота...

Поляки за праздничным столом, паны и паненки, юная царица, молодой царь, его близкие – вроде Басманова и еще кое-кто вели себя так, будто они сидели не в Кремле, в Грановитой палате – оплоте русских царей, а где-то в Кракове или, может быть, во Львове, где уж давно все стало польским, а Третьим Римом даже не пахло.

Опьяневший «царь» потребовал внимания и объявил на польском языке, обращаясь к гусарам, шляхтичам и другим рыцарям, допущенным к царскому столу, что жалует каждому в честь его свадьбы по сто рублей.

– Виват! – заорали гусары, поднимая кубки и чаши.

Пировали не только во дворце, но и во дворах, где были на постое прибывшие с Мнишеком поляки. Вино, водку и снедь послали и немецким рейторам. Они также не отказывались от здравниц в честь русского царя, державшего их в своей личной охране.

Народ на московских улицах тоже славил своего молодого «хорошего» царя. Однако перепившиеся поляки затевали бранные перепалки. Поносили русских, называя их уже давно запомнившимися оскорблениями «быдло» и «пся крэвь». Женщинам приходилось прятаться от грубого домогательства чужеземцев. Пьяные воины Речи Посполитой совсем не желали соблюдать вежливость, находясь в столице Московии. И часто брались за сабли, думая напугать русскую чернь. Приходилось вмешиваться стрельцам, которые едва сдер-

⁶³ Вино с махом – с маком.

живались, скрипя зубами. Под пьяные песни гусар и жолнеров, под скачки верхом по темным улицам, под беспорядочную стрельбу в воздух город притих, будто накапливая ярость. И новый царь многим уже не казался «добрым», «справедливым», «боронителем нашим», «государем-солнышком».

Пир продолжился на следующий день. «Царь» захотел попариться в бане. Веселился, хвастался своими ночными подвигами с молодой женой, которая была после страстных объятий «чуть жива». Услышав от тысяцкого на свадьбе Скопина-Шуйского, что Мнишековское воинство очень плохо себя показало: словно город взяли «на поток» и «разграбление» – махнул рукой. Хохотал, слушая про жалобы жителей, говорил небрежно: «Да ладно, сойдет. Бог все управит. Ну, перепились панове, мать их в душу... Ничего, завтра очухаются, помирней будут». Скопин только развел руками и замолчал.

– Гей, Ян, – обратился Самозванец к секретарю Бучинскому. – Бери Ивана, постельничего. Тащите корчагу вина, калачи и балыка жирного побольше. Продолжим предварительную пьянку. До обеда еще далеко. Зови Басманова, Богдана Сутупова, хранителя моей царской печати, других моих ближних...

– Надо бы остеречься с поляками, государь, – осторожно сказал князь Скопин-Шуйский. – Сам видел, что произошло на днях. Едва резню на Москве удалось остановить. Знаю, они помогли тебе в трудную минуту. Но Москва долго не сможет выдержать стольких грубых, несдержанных иноземцев. Как бы не взорвалась...

Самозванец внезапно повернулся и внимательно посмотрел на Михайлу Скопина.

– Чтобы был на пиру в вечер.

– Сегодня Николин день, – напомнил князь улыбаясь.

– Так что ж, в день святого Николая зови за стол друга и врага. – Отрепьев хорошо знал церковные порядки и праздники.

– Верно, государь, да скоромного есть нельзя. Только рыбу.

– Ну, не согрешишь – не покаешься, а не покаешься...

– Не спасешь свою грешную душу, – продолжил находившийся рядом командир немецких ландскнехтов Яков Маржерет.

– И ты, Яков, чтобы был за моим столом, – сказал ему, почему-то раздражаясь, «Димитрий Иванович».

– Я обязан охранять тебя всегда. За то, государь, ты мне платишь.

К гусарам ясновельможного пана Мнишека, стоявшим в карауле у его дома, крадучись подходили неизвестные люди. С виду русские, одеты как простые миряне. Доставали из-за пазухи свернутый в трубку бумажный листок и говорили тихо:

– Отдайте пану начальнику.

Гусары не очень торопились передавать эти листки Мнишеку. Думали, «схизматики» жалуются из-за прошлых безобразий: кому-то морду побили, товар в лавке сперли, не расплатившись, попу пинка дали, чтоб не проклинал прилюдно, чью-то девку, задрав сарафан, повалили в тихом месте... В общем, всякие были лихие дела – вплоть до серьезных ограблений, драк с применением сабли либо ножа, обиды, нанесенной не простой горожанке (это и у себя в Польше они не считали большой провинностью), а знатной боярыне... Словом, всякие случались безобразия, так что...

Но однажды какой-то младший начальник собрал все жалобы и отнес Мнишеку.

Тот удивился, повертев кипу бумажек перед собой. Позвал знающего русскую грамоту писаря. Кстати, некоторые были написаны по-польски. По прочтении этого бумажного мусора, тесть русского царя помрачнел, велел срочно подавать колымагу и конвой.

Мнишек приехал в Кремль, попросил «дорогого сына» принять его один на один. Когда на правах родственника ясновельможный пан пробился к царю и объяснил суть дела, Лжедмитрий только отмахнулся с досадой:

– Я уже столько видел этих доносов...

– Сын мой, Ваше Величество, тебе грозит смертельная опасность. Заговор, сын мой, и во главе его опять эти несносные Шуйские. Сам старик Василий и его братья. О, это коварные и жестокие люди... Надо что-то предпринимать...

– Ничего нет опасного. Ваши гусары, отец, натворили в Москве столько бесчинств, обозлили столько горожан, что теперь боятся мести да и... взысканий. В конце концов, как монарх, я должен прекратить их бессовестный разгул.

– Но я умоляю тебя, сынок, прислушайся к доводам благоразумия.

– Я распоряжусь, чтобы у казарм ваших гусар выставили стрелецкую стражу.

– Не смейся, Димитрий. Побереги себя и жену. Ведь все может оказаться правдой, и Шуйские...

– Но, дорогой отец, после моего помилования, старший Шуйский самый преданный мне человек. Я могу привести много примеров, когда он проявлял необычайное почитание и даже преклонение передо мной. Нет, Шуйский верный вельможа. Дай Бог, чтобы остальные бояре были такими.

После долгой умиротворяющей беседы Мнишек успокоился и не стал ничего говорить дочери, даже не зашел к ней. Пусть веселятся молодые, у них ведь медовый месяц... Самое начало.

Пиршества продолжались. В Кремле Лжедмитрий затеял невиданное на Москве действо: он решил устроить маскарад. Для этого созвали мастеров, которых усадили делать и раскрашивать всякие смешные «хари».

В один из таких праздничных дней в Кремль явился весьма значительный верховод московского приказа, дьяк Тимофей Осипов. Это был человек пожилой, степенный и богомольный. Видя происходящее на улицах Москвы и в самом Кремле, дьяк решил принести себя в жертву на благо православия и Руси.

Осипов постился и молился, готовясь к своему подвигу. Затем, причастившись в Успенском соборе Святых Тайн, он пришел ко дворцу. Пользуясь своим достаточно высоким положением по службе, дьяк свободно миновал дворцовую стражу и, будто с каким-то делом, попросил впустить его в обеденную палату.

За столом смеялись, возглашали тосты в честь государя и его молодой супруги. Здесь сидели попеременно русские князья и бояре, польские паны и немецкие военные, приглашенные к обеду.

Осипов дошел до места, где сидел Лжедмитрий с женой Мариной и ее шляхтянками. Тут же находились Басманов, Сутупов, новоявленный канцлер Самозванца и прочие представители новой и старой знати. Остановившись, Осипов глядел в упор на царя, не кланялся и ничего не произносил.

– Кто этот человек? – спросил «царь», обратив внимание на сухощавого, бледного дьяка в добротном кафтане и высокой суконной шапке, которую тот не думал снимать перед ним. – Что ему нужно?

– Я усердный дьяк Судного приказа Тимофей Осипов. – сказал пришедший к царскому столу. – Наведя всяческие мне доступные справки и грамоты, пришел к тебе, непотребный человек, чтобы прилюдно на глазах Боярской думы и всех придворных и челядинцев тебе сказать... Ты воистину Гришка Отрепьев, расстрига, а не цесарь непобедимый, не царев сын Димитрий, но раб греха и еретик.

Осипов замолчал и продолжал стоять неподвижно вперив в лицо Самозванца негодующий и одновременно помертвелый от ужаса взгляд. Никто к нему не приближался, выжидая приказаний «царя».

– Все это вздор, – довольно спокойно сказал «Димитрий Иванович», который по привычке за последнее время к всякого рода обвинениям, как письменным, так и личным. Они уже порядком надоели ему. – Обвинение сего дьяка есть оскорбление помазанника Божьего, государя всея Руси. По сему он подлежит законному наказанию. Но я наказаний не назначаю. Есть сенат, он же является Боярскою думой. Она и решит, какое наказание назначить.

– Взять его, – приказал жестким голосом Петр Басманов. – Отвести в пытошную, на дыбу его. И после допроса с пристрастием казнить, как преступника перед государем нашим.

Стрельцы выволокли дьяка Осипова из обеденного зала, и веселое пиршество продолжалось.

В продолжение обеда, при изрядном поглощении всяких яств и вина, «государь» стал возбужденно оспаривать князя Василия Шуйского по поводу употребления в пост мясных кушаний. Шуйский очень хитро и вежливо приводил места из церковных установлений о невозможности нарушения поста, являвшегося грехом крайне тяжелым и недопустимым для православного. К князю присоединился думный дворянин Татищев, сильно опьяневший, а по натуре строптивый и склонный к буйству. Глаза Татищева налились кровью от хмеля и злобы.

– Да ты, нажившись среди латинян, поляков и немецкой породы, уж давно привык и в пост жрать все подряд, как свиньи... для которых нету ни Бога, ни церковного устава. Помнится, в четверг на шестой недели Великого поста, твои холопы подали на стол жареную телятину, и ты, и жена твоя, и прочие оголтевшие грешники – все жрали, потеряв совесть... – и Татищев добавил еще несколько выражений, допустимых разве среди пьяниц в кружале.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.